



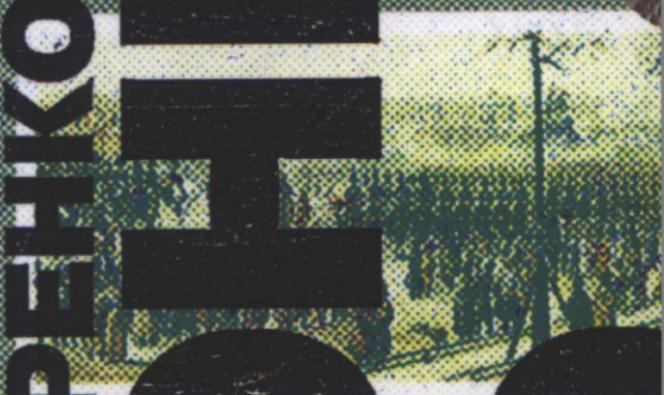
МОСКВА

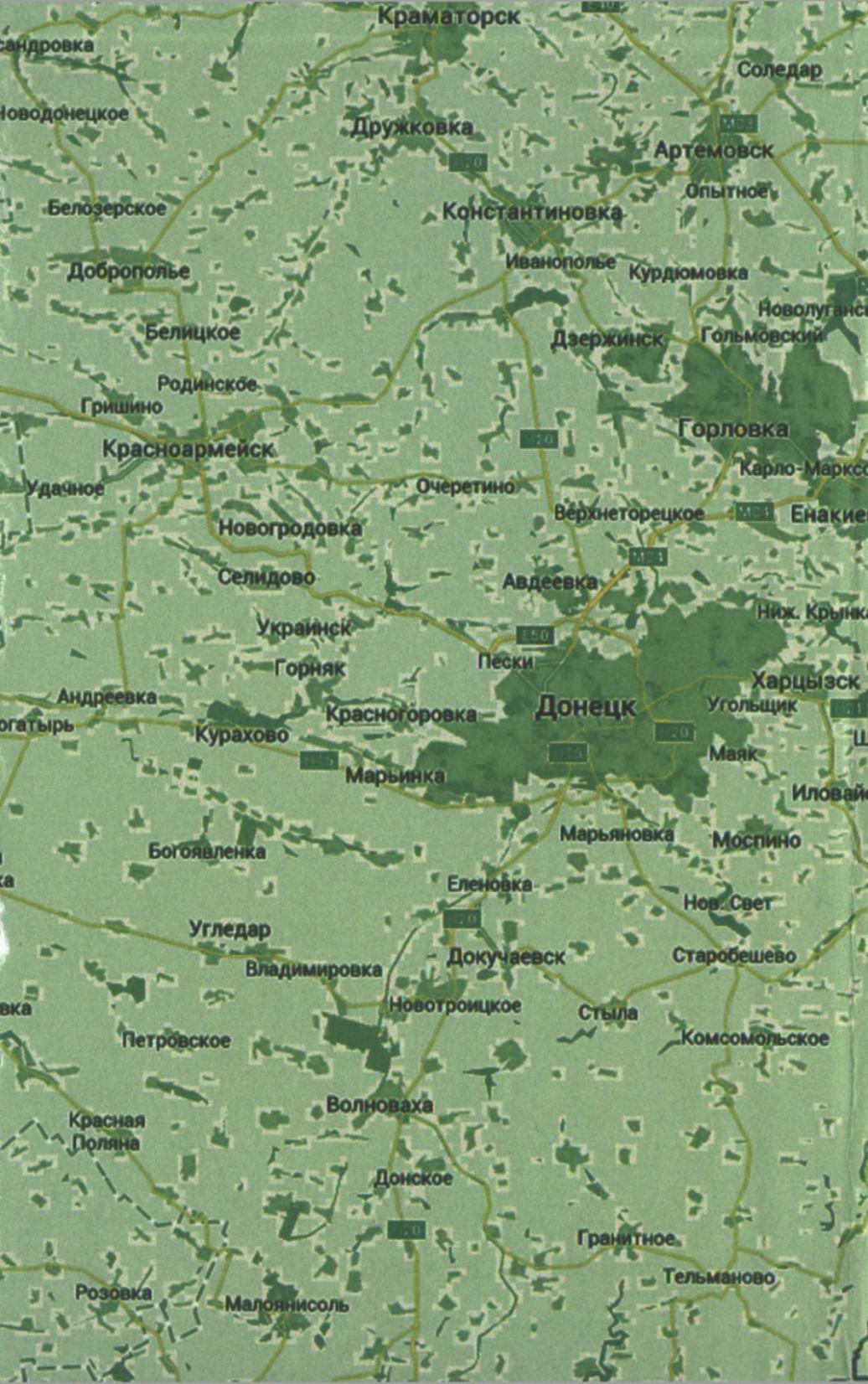
СВИНАРЕНКО

ДОШИБА

ДО

История СССР





Краматорск

Соледар

Сандровка

Новодоонецкое

Дружковка

Артемовск

Белозерское

Константиновка

Опытное

Доброполье

Ивановполье

Курдюмовка

Белицкое

Дзержинск

Новолуганск

Родинское

Гольмовский

Гришино

Красноармейск

Горловка

Карло-Маркс

Удачное

Очеретино

Верхнеторецкое

Енакиев

Новгородовка

Селидово

Авдеевка

Ниж. Крынк

Украинск

Пески

Горняк

Красногоровка

Донецк

Харцызск

Андреевка

Курахово

Марьянка

Угольщик

огатырь

Маяк

Иловай

Богоявленка

Марьяновка

Моспино

Еленовка

Нов. Свет

Угледар

Докучаевск

Старобешево

Владимировка

Новотроицкое

Стыла

Комсомольское

Петровское

Волноваха

Красная Поляна

Донское

Гранитное

Тельманово

Розовка

Малоянисоль

ИГОРЬ

СВИНАРЕНКО



ДОХИБАСС

ЛО

УДК 821.161.1-4
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4
С24

Идея оформления Андрея Бильжо

Свинаренко И. Н.
Донбасс до... / Игорь Свинаренко. —
М: ОГИ, 2015. — 270 с.

ISBN 978-5-94282-775-5



В своей новой книге журналист
и писатель Игорь Свинаренко
(р. 1957), уроженец Донбасса,
размышляет о прошлом,
настоящем и будущем
этого региона, ставшего
за последний год одним из самых
известных мест на планете.

УДК 821.161.1-4
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-94282-775-5

© И. Свинаренко, 2015
© А. Бильжо, 2015
© ОГИ, 2015



Написать книжку — много ума не надо, уж вы мне поверьте. А вот дальше начинается самое интересное. Обложка, верстка, мудрые советы, печать, распространение и проч. И не в последнюю очередь, кстати, финансы.

Написал, да, я, а довели книжку до ума и до печати, и до читателя, короче, сделали ее — другие люди, вот их список:

Андрей Бильжо (автор идеи)

Никита Голованов (мудрый критик)

Владимир Григорьев (продюсер)

Игорь Гурович (художественный руководитель)

Юлия Каденко (литературный агент)

Владимир Канторович (научный руководитель)

Дмитрий Криворучко (верстальщик)

(В алфавитном порядке, если чо.)

Я им страшно благодарен. Большое вам спасибо, ребята. Я лично получил от работы над книгой, к тому ж в такой компании, удовольствие. А порадует ли книга вас — это уж ваше личное дело, как ляжет. Не понравится — не выбрасывайте! Я те книги, которыми недоволен, когда-то выкидывал с балкона. А теперь через Людмилу Альперн посылаю в женскую зону в пос. Шахово Орловской области, куда ездил раньше по репортерским делам. На зоне всё читается, там, в другом мире, у предметов другая ценность.

Отдельное спасибо Людмиле Свинаренко (моей младшей дочке) за ее креатив, — это она придумала прострелить книжку насквозь. А не только обложку, как робко замахивались мы. И это очень уместно, ведь одна из глав книги — как раз про то, как перед выпускным вечером мы

игорь свинаренко. донбасс до...

в школьном тире расстреливали из мелкашки нелюбимые учебники: каждый сам выбирал себе цель. Разные люди говорили, что напечатать простреленный тираж никак нельзя, якобы нету таких технологий, никакая типография не возьмется. Сегодня, когда я пишу эти строчки, мы не знаем, чем все кончилось с этими дырками — удалось или нет? А вы держите книгу в руке — и уже знаете. Это — мое письмо вам в светлое будущее из прошлого, а именно из 8 марта 2015 года. Уранессать!

от автора

Когда далекий смешной фрикативный Донбасс стал вдруг трагическим пупом земли, и я тоже стал про него думать больше.

Когда-то я родился там и прожил в тех краях восемнадцать лет. Что-то вроде узнал там и понял про *genius loci*, видимо. Но прошли годы. Многое изменилось, поменялось, стало там — и там тоже — другим. Но что-то осталось. Кристаллическая решетка. Матрица. Правила жизни, которые в крови.

В 2014-м там началась война. Про нее очень много в новостях. Может, кто-то уже пишет про это «Войну и мир» наших дней или «Унесенные ветром», ну или «Тихий Дон». Придет, небось, время, мы прочтем высокохудожественный текст с философским осмыслением.

А пока я думаю про другое. Вот почему это случилось именно там? Почему так легко все подстроилось под перемену? Что определило выбор? Отчего именно там был сделан ход на шахматной доске Евразии? А не в Харькове? Не в Днепропетровске? Поди знай. Можно только строить предположения и теряться в догадках, и копать в подсознании, вдруг что-то прояснится.

Эти картинки... Огромный дымный завод в центре города, вокруг которого построен город, и в нем живут люди, среди железного лязга и ядовитого разноцветного дыма, от черного до красного, который с оглушительным шипением медленно поднимается в небо над мартенами и домами. Это я про родную Макеевку. А кто в ней не был, тот, может, смотрел «Груз 200» (не к ночи будь помянут), балабановское кино, где сумасшедший мент привез девушке на дом цинковый гроб с ее десантником, убитым непонятно

где и за что, казенные же фразы не в счет, кто ж им верит. Там, в том мрачном кино, все крутилось возле такого приблизительно завода, снятого с натуры, — да не в наших ли краях? «Маленькая Вера», прогремевшая в Перестройку в довоенном еще Мариуполе, да он вообще тогда, небось, еще Ждановым назывался, — знакома многим, и незатейливая жизнь простых, очень простых людей там показана тоже без всяких прикрас, это вовсе не гротеск, как может показаться яйцеголовому зрителю. (Точнее могло тогда показаться.) Или взрывы с последующими массовыми похоронами: в этом нет и не было ничего эдакого сугубо военного, сколько ж там было взрывов на шахтах и после — ровных рядов могил с надгробиями в единой стилистике, и на черных этих, под уголь,obelisks одна дата смерти, ну кроме пары-тройки ребят с того же участка, которые угасли позже, в больницах, и были зарыты досылом.

И кругом же степь, дикая степь, и совсем рядом знаменитое Гуляй-Поле, столица махновщины. Такие вещи не проходят бесследно и незаметно, это давит на мозги и воспитывает неистребимую тягу к анархии, когда плевать на авторитеты, на правила и на законы. «Да, скифы мы, да, азиаты мы», — для кого-то это чисто книжное, эстетское, а я всегда знал, что это про нас, донецких, выросших в степях, где границы не поставлены и не обозначены, где спят курганы темные и повсюду каменные половецкие бабы с обвисшими сиськами — привет от древних отморозков-кочевников, которые творили все, что им в голову взбредет. Эти шахтные поселки кругом, вдалеке друг от друга, как хутора, среди дикой природы, изуродованной терриконами, где редкие девятиэтажки смотрелись архитектурными прорывами и чудесами, что твой Нимейер в Бразилиа Сити. Где редко у кого был пиджак, а потому что — да на кой он, зачем придурком выглядеть? Какие там кафе с ресторанами, зачем они, когда можно дома на кухне в майке выпить самогоночки под сало с цибулей, или вечером на детской площадке, а еще лучше в гараже своем! И баба должна быть такая, чтоб было за что взяться, ого-го! В Макеевке был один театр, который стоял

пустой, если в него не нагоняли вьетнамцев — при Советах они у нас учились в горных ПТУ и после летели обратно к себе в Хайфон рубать уголек. Там эта яблочная кожура культуры, про которую говорил Ницше (или Фрейд? Поди их всех запомни, у нас там про них редко вспоминали), — была еще тоньше, чем где бы то ни было, а раскаленная бездна под ней была не красивым лирическим образом, но повседневной реальностью. Внизу были подземные горизонты, которые то и дело выжигались выбросами метана, а металлургический завод, ну или коксохимический, тоже в центре города, был житейской доходчивой иллюстрацией натурального адского пекла, достоверной вплоть до серного душного запаха. Особенно роскошное зарево вставало над городом, когда сливали раскаленный шлак. Это все в сумме — вдобавок к терриконам — и дает жесткий радиационный фон, онкология там зашкаливает.

Среди всего этого жили и живут люди, только стало потише и посвежей, когда позакрывались заводы с шахтами. И жизнь там протекала как-то без лишних предисловий, ясно, прямо и четко. Даже дети понимали, что надо как-то определяться, выбирать кусок хлеба — в шахту идти, в банду (если спортсмен) или в менты, везде заработок хороший и основательный, и везде связан с определенными рисками. Чем же бандит хуже мента? Ничем, он даже более уважаем, самостоятельный хлопец, с ремеслом в руках. Они потом, бандиты, менты и терпилы, — вступали друг с другом в бизнес-отношения, и что меня поразило, без оглядки на старую дружбу. Ничего личного! «Если ты не заплатишь через неделю, то скажу бандитам, что я тебя больше не крышую, и будешь с ними разбираться сам», — такое однажды прозвучало на встрече трех друзей детства, одним из которых был я. Другой потом залег в психушку от переживаний, а третий сбежал с Януковичем.

Ну кто выбивался из ряда, те уехали, конечно. Или прозябали на обочине жизни вдали от широких дорог. Или ло-

мались — знакомый школьный учитель ушел, плюнув на диплом, в забой, чтоб быть как люди и не ходить на работу «в чистом», и его встречали гоготом и бесконечно повторяющимся вопросом: «Вася, а шо ты сѣдня без глобуса, бугага?» А еще один, аспирант, бросил кафедру — и тоже в шахту, гроз (горнорабочим очистного забоя), ну что за мужик, если не рискует, не ставит все на кон и хочет влачить унылые будни за скромную зарплату? Когда есть великий выбор — «все или ничего»? И туда же, в этот *melting pot*, — потомки кулаков и просто крестьян, сбжавших от голодомора, откинувших зеков, отсидевших бандеровцев и лесных братьев, и просто людей без паспортов, отмороzków, которых больше нигде не брали...

Нравы были такие простые, что даже отличники, книжные мальчики, не выходили вечером из дома без финки или хоть свинчатки и имели шрамы на лбу от монтировки или на боку от клинка.

Сорок лет назад я вывалился оттуда в, pardon, Старороссию и увидел широченные проспекты и древние храмы, и кучу памятников, и старых интеллектуалов, и телеведущих с высочайшими помыслами, и концерты, где на сцене были люди во фраках. Моща культуры лезла изо всех щелей и разлила меня как пыльным мешком по голове. Контраст с дикими степями был разительным, возможно, даже опасным.

Однако ж прошли годы. Дикая наша азиатская беспредельная степь настигла меня в Москве. Таких отмороженных гопников не было даже на шахте Бажанова, какие теперь вещают на федеральных российских каналах! Концерты теперь все больше про блатняк. Сколько памятников снесено в столице, страшно посчитать. Государство тает и валится на глазах. Цивилизация бледнеет и пропадает, становится *незаметной*. Я все это роскошество дикости видел там, бежал от него — а оно меня настигло здесь.

Мне, кстати, старики рассказывали про Париж, что когда-то он был свежим, безопасным, и торжественным, в ресто-

ран нельзя было войти без костюма и белой рубашки с галстуком, а прогулка по Елисейским считалась праздником, редкие зашуганные арабы быстро подметали что-то рассыпанное — и снова прятались в каких-то своих щелях.

И вот я говорю вам:

— Люди, будьте бдительны!

Но это так, для очистки совести. А на самом-то деле уже поздно. И Блок был прав. Что его, впрочем, не спасло.

Начало века

Надо по порядку. С самого начала.

Начала не чего-нибудь, а века, не этого, причем, а прошлого — XX-го. Он начался, как известно, не в 1900-м (похожая путаница была в начале нашего теперешнего миллениума, когда праздновали в ночь с 1999-го на 2000-й...) А как и положено — в 1901-м.

Я так цепляюсь всю жизнь за тот год, потому что в нем родился мой старший дед. Про то, как он начинал тогда жить, приятно и волнительно думать. Сам он рассказывал, что родился в Сумской губернии, семья была крестьянская. Лет в пятнадцать он впервые прокатился на социальном лифте — перебрался в город и там устроился на сахарный завод, *dolce vita*, куда-то к слесарям и механикам, это было этажом выше крестьянской жизни, в стороне уже от идиотизма крестьянской жизни, прямо марксизм. Я когда-то играл в эти даты с неким даже восторгом. Был в газетах термин «ровесник века», он поднимал статус всего, чего касался. Это как раз было про деда, буквально. (Я вообще часто думал, то есть, мне казалось, как-то моталось в темной глубине подсознания, будто это не ОН и Я, а один человек, который сначала был ОН, а после стал ОН+Я в одном флаконе. В этом, наверное, есть тень безумия, но кто не любил, тот, скорее всего, не поймет, как двое не становятся единым целым, но воображают себя таковым, причем довольно успешно, главное, чтобы оба были довольны.) Я фантазировал на тему: дед доживет аж до 2000-го года и будет удивляться научно-фантастическому будущему, в частности чудесным приборам.

Приборы в мутном будущем мне виделись тогда следующие.

Некий телефон, который я носил бы в сумке на плече, наподобие противогазной. Он был бы на батарейках, само собой. И по нему можно было б звонить на городские аппараты. Удивлять народ и владеть частью мира. Еще я видел некую машинку, которая влезала бы и вовсе в карман пиджака. Там я предусмотрел клавиши, ударяя по которым, набивал бы телеграммы. Это мне было понятно, дело-то простое. Не все было ясно с деталями — у всех ли будут такие переносные телеграфные аппараты или только у избранных, к которым, безусловно, относились, кроме меня, еще и мои друзья, ну и родня тоже. Я видел и автомобили, которые управляются черт-те какими навигационными приборами и ездят без шофера, а только со мной, с пассажиром. Для чего мне нужна была самобеглая самоуправляющаяся коляска? А очень просто: управление автомобилем казалось мне искусством невероятно сложным и мне, простому смертному, неподвластным. И, видно, я был совсем мал в те годы, и 18 лет, когда дают права, — это было фантастически, ненаучно далеко, этот рубеж забрасывался в какую-то аж следующую жизнь, жизнь после жизни или еще после чего.

Мысли о том, что с дореволюционным моим дедом мы будем запросто путешествовать по будущему XXI веку, была счастливой. Я видел себя еще крепким 43-летним стариком, который поддерживает за локоть своего дряхлого предка и по-хозяйски показывает ему свои владения. Я, наверное, уже почитывал в этот, как говорится, отчетный период незатейливого Герберта Уэллса, не подозревая тогда, что самым удачным его провидчеством станут морлоки, которые ночами вылезали из своих звериных подземелий и рвали на части наивных интеллигентов, чтоб потом им же продавать колбасу из них же. Уэллс был моим любимцем даже больше, чем наш Беляев с его головой профессора Доуэля (как бы самцом Моника Левински). Выдумщик англичанин разговаривал даже с дедушкой Лениным, кремлевским мечтателем. Моему деду такой разговор в жизни не выпал,

и это мучило меня — ведь все могло случиться, а не случилось, о, как же я обделен! За неделю до того как я залег набивать эти строки, мне на одной европейской набережной под тентом пивного заведения встретился немец, он обернулся на русскую речь и счел своим долгом похвалить Путина. С которым, правда, как и я, не пересекался, — но зато видел фюрера! В 1944-м он выступал на митинге, где был и теперешний старик-турист, тогда школьник. Ха-ха.

Мне было больно, что я не мог хвастать, что вот мой дед Ленина видел! Не разговаривал с ним, но хоть видел, это утешило бы меня.

Несколько позднее я попал под власть мощной мысли, которая пронзила, по крайней мере, один век. Мой дед, который был (я теперь это приблизительно замеряю, нету же такого прибора даже у фантастов) моим главным воспитателем, — мог точно так же заглядывать в глаза своему деду, изо всех сил пытаясь узнать, как же устроен этот мир и по каким законам обязаны жить лучшие люди (если не числить себя среди них, то что ж это за жизнь, в самом-то деле?) А его старик вполне мог родиться ну, скажем, в 1835 году, с тем чтоб в 70 или 75 воспитывать пацана. И тогда выходило, что когда случилась «беда», в 1861-м-то, он был уже взрослым сложившимся мужиком. И вот какая тут рисуется логика — меня растил воспитанник раба! Мой дед, родной и замечательный, которому я доверял совершенно, и тайно хотел быть как он, не признаваясь в этом никому — ну, могли успеть выдать из себя раба — вот за этот один шаг, этот даже шажок, длиной в одно рукопожатие? От его деда до его внука? Он мне не говорил ничего такого да, небось, и не думал. Дед был то ли конфуцианец, то ли человек римских доблестей, он шел неким своим путем, жил по своим железным правилам, имея уверенность в своей правоте и копя доказательства ее и легко их предъявляя, если надо, к примеру, искалеченную на фронте ногу или ордена, привинченные к парадному советскому пиджаку.

Но в мою досужую голову эта мысль пришла. Растекаясь по дереву. Рабство! Как оно сильно! Я копался в своих ощущениях и движениях души, пытаюсь определить — где же рабское, в чем оно? Где притаилось, за чем спряталось? Во что перекрасилась эта позорная правда? Чем же школьным и казенным обернут этот жгучий стыд так, чтоб не спалить все благородное и идеальное? А вдруг — думал я — это никуда не делось и не денется? Может же так быть, что это клеймо не стирается, не выживается, не перекрывается каким-то новым — а остается на всю жизнь и даже выходит за ее пределы? В другие поколения? И потомки рабов, плодясь и размножаясь как по писаному, — потом строят себе страну, какая им нужна, какая им удобна? Гоня и давя чужих, не понимая, отчего они кажутся чужими, по какому признаку? Смерть свободным? Которые могли же как-то сохраниться, выжить, дать потомство? Раб и свободный — можно ли придумать более чужих и ненавистных друг другу людей?

Страшно неприятна эта мысль про рабство, ее неохота думать, да и делиться ею противно.

Как-то спасало то, что дед был не раб, а если и раб — то взбунтовавшийся, восставший раб! Что делало ситуацию романтической и привлекательной. А деда и заодно меня — героями. Спартак и прочее.

Я рассматривал старую желто-коричневую фотку, на которой дед — на тот момент не дед, конечно, а двадцатилетний парень, — стоит с двумя сослуживцами. Мне было больно от того, что на дедовской голове фуражка, а не буденовка, как у того, что слева, а на поясе кобура с — навскидку — наганом, а не коробка с маузером, как у того, что справа. «...Со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли», — это казалось круче. Маузер — не маленький, как бы дамский, как у персонажа гайдаровской «Школы», из которого он застрелил белого мальчика, — а другой, длинный, нескладный, прекрасный в своей неуклюжести!

Он был тоже не просто стволом, а звездой, кинозвездой, дизайн разил наповал. Пистолет, похожий на аиста, который вытянул длинную шею и сейчас полетит. Вот как белый аист на молдавской коньячной этикетке в те времена, когда советский коньяк считался благородным напитком и стоил 8 руб. 12 коп. Дети играют в войну, обычное дело, и я мысленно воевал бок о бок с любимым дедом, в виртуале справедливость была восстановлена, и мы оба с маузерами били контру. Я перестрелял тысячи белых офицеров! В своих чистых детских мечтах о счастье для всех, как у Стругацких. Это было приятно и просто. После полного решения белого вопроса счастье все еще не настаивало в рамках той моей концепции. Еще мне, тому мальчиговому и самоотверженному, предстояло расстреливать спекулянтов и кулаков, и просто тупых, которые не верят мне, что надо строить светлое будущее по сценарию, который давно известен и обсуждению не подлежит. Правда, это все было как в кино, где много красивой, меткой (когда наши по врагу) и бездарной (когда мерзкий враг по нам, кстати, *mrziti* — это на хорватском значит «ненавидеть») стрельбы — но потом непонятно, кто и как закапывает многочисленные трупы, в братские могилы их что ли сваливают...

Необычайно редко в кинематографе хоронят убитых, а если могилу для вполне симпатичного трупа и роют, то за две или три минуты, к примеру, саперной даже лопаткой, что, впрочем, убеждает людей, ни разу не выезжавших в шабашку на земляные работы. Так после поцелуев у красавца и красавицы появляется малыш, как все легко, никто не елозит долго и скучно в койке и не блюет мучительно, одной рукой держась за унитаз и другой придерживая пузо, боясь выкидыша. Все ложь и примитивная картинка Вселенной, нарисованная на папиросной пачке, и войны, и любовь, как их показывают простодушному зрителю.

Война и любовь, герой и красавица, счастье и красота — если это выкинуть из жизни и из головы, то что останется,

кроме долга и скучных обязанностей? (На каком-то этапе, например, любви к маузеру — хождение в школу, в которой, впрочем, отличнику тоже было раздолье.)

Красавица — первая — причем не в плане рейтинга, а чисто хронологически — появилась позже, ну... чуть позже; сначала все же — дед.

дед, окуджава и сталин

С какого времени я помню его, в какой именно момент пошла запись на жесткий диск? Когда это включилось? Когда комп загрузился и на экране появилась картинка со словом «Привет»?

Я еще не мог говорить, а только смотрел и слушал, точнее принимал какие-то звуки. Я замечательно помню, глядя снизу вверх, так это и осталось на всю оставшуюся жизнь, узкое лицо деда с короткими седыми волосами без намека на лысину, только залысины по бокам, лоб не низкий и не сильно высокий, со спокойными ясными глазами. На нем одежда цвета лягушки, теперь можно описать иначе — цвета хаки (который, видно, так вьелся в его жизнь, что не было смысла его корчевать, да и незачем), не френч, но того же покроя — некий мягкий, это я прекрасно помню, что мягкий, не байковый, а покрепче, поплотней, растекающийся по телу, а не жестко сидящий — как бы верх пижамы, но, конечно, это была не пижама, скорее верх же от больничного костюма. Очень, очень военный цвет, как в военных фильмах, из которых я какие-то уже видел, следя за движениями своих и ненавидя чужих злых. Это первое, что объясняют взрослые детям — что есть чужие, которых надо убивать. Как — убивать? Кино-то игровое, это все так, дурака дяди валяют. Это большие так себе говорят, а дети-то видят, как из человека получается мерзкий труп, и папа с мамой довольны, все правильно, так надо, сынок. И сынок не с молоком, а уже без молока, он уже, как правило, отнятый от груди — впитывает, прошло пятьдесят с лишним лет, а первая — или может вторая, третья запись — не стерлась, она отчетливо читается.

Мы с ним в саду у его домика. Стоим у низкого редкого серого штaketника на границе участков, и он говорит соседу, тоже старику, который курит папироску на своей земле: — А це Миколин.

Ацэмиколын, ацэмиколын, ацэмиколын. Они повторялись после не раз, когда подходили другие люди, чужие, которых я прежде не видел — но вроде хорошие, дед даже не пытался их убить, как это делали со злыми людьми. В кино по крайней мере. Что это за непонятные звуки? Наверное, они про меня, раз дед кивает в мою сторону. Сосед-старик смотрит на меня и улыбается. Я доволен. Я правильный человек. У меня все в порядке.

Я тогда еще, стало быть, не говорил. А когда начал? Не помню, и спросить некого. В два года, в три? В четыре? Я, кажется, не был вундеркиндом, я был скорее, как я теперь это вижу, аутист, переученный — не полностью — аутист, который может имитировать общительность и прикидываться рубахой-парнем.

Мыкола — так дед звал человека, который тоже заботился обо мне. Он был тоже огромный и старый, но как-то легче, легковесней, проще, наивней. Через какое-то время, не сразу, я понял, что это мой отец. Мыкола — мыколын.

Тот зеленый недофренч был, как я сразу заметил, заштопан на локтях. Какой-то толстой витой ниткой, не простой тонкой и прозаической, но солидной, внушительной, серой с переливами — на хаки-то. Эта штотка создавала объемность, у френча появлялся некий дизайн-замысел. Из домашней тряпки он превращался таким манером в арт-объект, в сложную конструкцию, это уже был как бы принт, пусть и растиражированный, но все ж с неповторимостью — художник своей рукой нанес несколько штрихов, и теперь это никак не сошедший с конвейера анонимный ширпотреб, но шедевр, маленький шедевр.

Через много лет, кажется, в 1993-м или в начале 1994-го, я помню, что была зима, и я застрял на своем «Москвиче» в снегу у забора дачи — я увидел такую же масштабную, объемную, почти художественную штопку на рукавах фланелевой, красное с белым и, кажется, с синим, на протертых локтях же — Булата Окуджавы, к которому я по делу заехал в Переделкино. По простому делу, завизировать некий текст, написанный с его слов. Дело было настолько простое, что предполагалось послать к классику шофера или вовсе курьера, но я вызвался сам, и посмотреть на поэта, которого не видел к тому моменту уж лет десять, и при надобности с его слов внести правку. И вот он читал, а я ждал, смотрел на него и любовался этой ручной зательливой штопкой. Так прошло минут двадцать, после чего он сказал, что работы много и он ее сделает на неделе, как только выдастся пара часов. Я попрощался, вышел, завел машину — но выехать из глубокого дачного рыхлого снега не смог. Поэт стоял в дверях и смотрел на мои попытки все же выскочить на дорогу из бессмысленной грязной белой каши, русский, значит, путь. Через минуту или три, когда все стало ясно, он подошел к машине и воткнулся в нее сзади — давай, газуй потихоньку, а я подсоблю, подтолкну плечом! Я выскочил и решительно возразил, предложил поменяться местами, чтобы он за штурвалом, а я тупо толкал бы. Мне было известно с его слов, что машину он водил. Когда-то он рассказывал мне в компании (пили водку и чай на кухне, в доме его калужских друзей, еще в те времена, когда он был в провинции сельским учителем), то есть и еще кому-то, и другим, что любит водить — поскольку это дает ему иллюзию свободы. Вот именно что иллюзию. Я много позже, получив права, оценил эту фразу. А у него-то прав не было! Как-то лень было их получать, он легкомысленно от этого отмахивался. Когда его тормозили на дороге проверить документы, он врал, что забыл права дома. Ментам в голову не приходило, что седой благообразный интеллигент катается без документов, которых ему отчего бы и не иметь, пойдя да получи. Его всякий раз от-

пускали, слабо пожурился. Я пригласил его на водительское сиденье, чтобы самому залезть в снег и упереться в корму «Москвича», зная, что он уж сумеет аккуратно и уместно газовать — но он решительно отказался и махнул в мою сторону рукой, давай, мол, за руль и не рассуждать, здесь он хозяин! Я подчинился. Окуджава лично вытолкнул меня на дорогу с непроходимой обочины, я осторожно, чтоб опять не застрять, прополз по Переделкино и выбрался на торную дорогу. Сам Окуджава! Меня, грешного!

Френч, может, такой же штопаный, был и еще на одном персонаже, который в доме деда был представлен черно-белой фоткой примерно 13 на 18. Точно сказать нельзя, на снимке был только бюст, как на памятнике. Персонаж был, значит, при френче, у него были густые усы.

Вид у чужого старика — может, это какой родственник? — вполне добродушный, но видно, что дядя он решительный. Прическа была как у деда, но волосы погуще, пообъемней. Портрет был в темной деревянной рамке, под стеклом. На стекле, где-то в районе, кажется, правой щеки был огрех — этакий горизонтальный эллипс сантиметра в два длиной, прозрачный, очерченный как бы контуром. Брак, что заплатка на френче, бедность не стыдная и не грязная, но аккуратная, видная издали, но не унижительная, а просто люди вот так живут, по средствам, и не ноют, им не до перфекционизма. По одежке протягивают ножки, и ручки тоже, вдевая их в штопаные рукава. Я научился читать, не помню уж во сколько лет, кажется, еще до школы, и стал складывать буквы, и недалеко от портрета на полке стояли разные книжки, я достал самую близкую, подставив стул и на него табуретку и, открыв, увидел под старинной, темной крепкой обложкой почти такой же портрет, и он был подписан: Сталин. Я был Мыколын, а тот был Сталин. Какого-нибудь Сталя. Или какой-нибудь Стали, вполне возможно. Сталя, Мыкола — эти названия стоили друг друга, это были просто ни на что не похожие, уникальные, непо-

вторимые — на тот момент, по крайней мере, то есть прежде не повторяемые, еще не повторенные — слова. После, кстати, через много лет я познакомился с двумя дамами, которые обе годились мне по возрасту в мамы, их звали так: Сталина. В смысле Сталина. К одной при мне обратилась ее внучка, причем так: «Бабушка Сталина!» Внучка была ли в курсе, отчего так звали старушку — или просто приняла это как редкое имя, не имеющее никакого отношения к усатому красавцу?

Потом, когда началось на Юго-Востоке, я увидел, что жизнь повторяется, мне казалось, что не будет уж той махновской воли в наших диких степях и никогда не смогу я взять ствол и вершить суд, какой захочу, над всяким. Я страдал от того, что был несправедливо обделен, и это навсегда, думал я — ан нет! Настала опять дикая свобода. Езжай и покоряй, и дыши полной грудью! Но нет — я не знал, кого убивать и за что. Я попал в тупик, счастье настало, мечты сбылись, но оказались пустыми и глупыми.

Да, наверное, у всех так, каждый мечтает о глупостях, и это счастье, когда мечты не сбываются. А у кого сбываются — тому открывается истина, и пропасть, и вся-вся безнадега...

Круг замкнулся.

ТРУДЫ И ДНИ

Как мне теперь представляется, нежные годы я проводил приблизительно так же, как он. Вот пришло время копать огород — и дед выдал мне маленькую лопатку, впрочем, не игрушечную, а настоящую, весомую, никакой подделки! Сегодня я пытаюсь ее опознать по смутной картинке на дне памяти. Так, навскидку, это была саперная лопатка, разве только насаженная на длинный, длинней чем штатный, черенок. Я втыкал ее в землю с силой, и дед смотрел на меня с одобрением — молодец, парень! Замечательно помню это, прям отчетливо, будто происходило вчера, как мы с дедом работали в сарае. Там был пол из трухлявых серых, а местами и черных, досок, стены из темно-серых пористых огромных кирпичей, как мне теперь представляется, это были шлакоблоки с завода, этот шлак прессовали и продавали тем, кто строился, небось, радиация там была нештучная! Впрочем, счетчиков Гейгера ни у кого в хозяйстве не было тогда, да и сейчас-то поди отыщи — все были довольны, а многие прожили чуть не по сто лет. И вот мы с дедом в этом сарае... там полки и стеллажи, и ящики, все такое потраченное временем, что истертое, что заржавленное, что гнутое и дырявое — сарай, рухлядь, все самодельное! И — острый запах, который сейчас легко опознать как мазут, а тогда это был просто аромат труда, веселой прекрасной взрослой работы, открытий и просто новостей, новых знаний об устройстве жизни! И — роскошных развлечений.

Дед наверху, за верстаком, деревянным, обитым железным гнутым листом, что-то обтачивал, некую нужную ему штуковину, зажав ее в тяжелых грязных тисках, а я был внизу, на высоте своего детсадовского роста, но и у меня было взрослое ответственное дело. На нижней полке этого само-

дельного верстака был уложен обрубок настоящего рельса, и маленьким, не очень тяжелым, вполне подъемным молотком, точнее даже молоточком, я старательно, сопя от груза ответственности, разгибал маленькие ржавые погнутые гвоздики. Дед после принимал у меня работу, он был придиричив и, наверное, каждый третий гвоздь возвращал мне на переделку, да, эксплуатируя детский труд, эхе-хе. Я рвался в бой и снова бил молотком по этим вертлявым гвоздям, которые специально так изворачивались, назло, чтоб я попал по пальцу и кривился от боли и злости. Легко я представляю себе теперь и его точно в таком же возрасте, пяти лет, и точно так же его дед давал ему ровнять гвозди, которые сто лет назад были реально драгоценны, а где ж их взять-то. Усилия по превращению мусора, того, что сейчас имеет этот статус, я про кривые ржавые гвозди, — в некий важный товар, который непременно пригодится в хозяйстве и еще послужит людям... Их вколотят в нужные доски, а потом еще, может, не раз и не два будут вытаскивать клещами из трухлявой древесины, чтоб по новой пустить в дело. Теоретически я мог в этом круговороте выловить — как в океане бутылку с письмом — ржавый гвоздь, который в свои пять лет мой дед лично разровнял на вот таком же рельсе. Это все как-то смыкалось, да.

Чувство, что я живу взрослой жизнью, что я работаю, делаю что-то полезное, — тогда было. Вот появилось и было. Не просто дурака валять и играть в бирюльки, шалишь! Я работал, а еще из взрослого — выпивал! Дед иногда наливал мне в маленькую водочную рюмку самодельного вина, он делал его из своего винограда, виноградную косточку в теплую землю зарюю и лозу тра-та-та, да, в таком духе. Вино было — вкус его, впрочем, остался в моей коллекции вкусов — сладкое, сладковатое, ну теперь-то понятно, что сухого не надо ожидать на не очень теплом, хотя и почти юге, и еще оно отдавало, я могу это сказать теперь, пройдя через карьеру самогонщика — брагой, бражкой. Оно, это вино, было густое, красное, с уклоном в кармин. Я выпил

его много, много за всю совпадающую с дедом жизнь, за наш общий отрезок, — огромное количество, с тех дней, когда я уже начал ходить и говорить, и сидеть за общим столом, и пить со взрослыми — до конца нашего с ним совместного путешествия, когда он сошел с поезда, а я поехал дальше. Это тянулось тридцать лет. Как-то потом я случайно додумался до того, что это была имитация старинного кагора из детства моего деда, ну непременно же его брали в храм и водили к причастию, вот же он, этот кагор! Кагор, кагор... Ни в чем таком церковном мой дед замечен (мною по крайней мере) не был, и кагор, конечно, слабая улика. Но в шкафу, внизу причем, за темной коричневой, с краснотой, дверью, лежала тяжелая старая Библия, я листал ее и пытался читать, однако застревал на строках, в которых один мужик родил другого, а тот третьего и так далее, это было мутно и неубедительно, и чужие, каких в жизни не бывает и быть не может, имена персонажей не притягивали к себе, нет, не притягивали.

Был у меня и еще один дед, про него в подробностях позже, а пока я вспомню про то, как он водил меня в пивную, во все том же нежном моем возрасте. «Бабушка, дай рубль, внучок пива просит!» — восклицал он в шутку, в добрую шутку, и получал рубль вместе с упреками в том, что вот алкоголик он, что, может, и было правдой, кстати. Мы шли в пивную по тротуару, дед вел меня за руку, есть фотки ч/б, где я в рябом пальце и в лыжной тонкой шапке, похожей на ту, что у Бэтмена, с как бы залысинами на лбу и неким шерстяным острием, идущим к переносице, а дед в пиджаке с набивными плечами, в широченных штанах и при простецкой пролетарской блатной кепке с пуговкой на макушке. Мы заходим в пивную, там толпятся мужики, это стояк, дед берет пару пивных бокалов с роскошным жидким янтарем внутри, и тарелку с мелкими сушками, к которым намертво приклеены кристаллы соли. Эти сушки были мои, они были мне, и я грыз их, стоя под высоким столиком, облокотившись на его нижнюю полку и придер-

живая эту вот тарелку. Дед окликал меня сверху и подавал пивную кружку, мое участие в походе было не символическим, но полноценным: мне позволялось и предлагалось схлебнуть твердую густую белую пену — и проглотить. Этот вкус залег где-то в мысленном сейфе самого драгоценного, что я пробовал в жизни, и вот эта восхитительная картинка, где солнечное желтое с мелкими легкими быстрыми пузырьками, которые поднимаются, и белая снежная невесомая пена, которая слегка горчит, это вам не младенческий лимонад! — и толстое граненое стекло с отпечатками чьих-то жирных пальцев, наверное, так надо в мужской жизни! Это все хранится и не забывается, и тут волшебный фокус еще и в том, что в любой момент можно вскочить и добежать до ближайшей пивной, и повторить этот ритуал, войти в могучую мистерию. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра — но дед был изысканней, чем та придуманная девчонка из бестолкового стишка: он вел меня в пивную как в храм.

Итак, работа и вино (считая, грубо, по этой статье и водку, и пиво), все это очень взрослое. И не ныть, когда ударил молотком по пальцу. А женщины? Без них ты или дитя, пацаненок с грязным пузом, или бесполезный старикашка.

Мне запомнилось ее домашнее простецкое платье, какое было на ней в первый день. Оно было не ситцевое, нет, плотней, на ощупь нежное как замша, пестрое, зеленое с желтым и сиреневым, маленькое, размером со взрослую майку. Платье, да...

Ее глаза, которые то и дело затуманивались, по делу и без дела, это было странно, как будто она засыпала на ходу или посреди игры, детям такое непонятно совершенно, им кажется, долго кажется, что жизнью руководит сознание, и уж никак не подсознание, никак не инстинкты.

Кажется, читать к тому времени я уже умел, но в школу пойти еще не успел, это был такой провал, когда информация об устройстве мира уже валится в чистый мозг — но

процесс еще не взят в казенные рамки и идет как идет, дико и вольно.

Марго я не выбирал, поначалу и не завоевывал, даже не пытался, она была единственный ребенок интересного для меня возраста во всем моем подъезде. Она была и появилась просто так, случайно. Про это не надо было думать, не с чем было разбираться, она свалилась откуда-то сверху — кстати, да, она жила этажом выше, — и осталась без труда, потому что место вокруг было пусто, и никто больше на эту территорию и этого мальчика не покушался. С этим ничего не надо было делать, так вышло, вот и все — бери не хочю. Это мне теперь что-то стало напоминать, старую историю про яблоко, до которого он и она были чисты как дети. Какие дети, про каких детей речь? Мы и были дети, но чистоты и нетронутости, конечно, не было, откуда им взяться. Уже был запрет, и легкая тень ужаса и преступления падала на нас невинных. Мы уже знали — откуда, кстати? — это, наверное, носилось в воздухе или читалось в глазах взрослых — что не все тело хорошо, в нем есть и как бы отвратительные детали. Которые надо прятать зачем-то. Детали грязные, их невозможно отмыть, — так что ли это преподносилось? И понималось? И пользы от них никакой, кстати! Ну и на кой тогда они ляд? Казалось бы, — и такие были мысли. Тогда в ходу было — может не везде — роскошное слово «глупости». Оно обозначало вот это вот все нечистое и стыдное. Верил я этому сразу и безоговорочно? Пожалуй, нет. Было другое: плевать мне было на запреты и оценки, просто я на автомате, как робот-разведчик, собирал информацию о планете, на которую меня забросили. Глупости были частью этого мира, какой-то его деталью, без которой, если его начать собирать, — он соберется, но после сборки не будет функционировать, не заведется и не поедет.

Она требовала, чтоб я играл в глупости, и я малодушно соглашался. Она покупала меня тем, что после играла в мужские мужественные игры.

- Гм. Ну ладно, а давай теперь играть в машинки.
- В машинки? Может, лучше в куклы?
- Ну, ладно хватит уже, надоела эта девчачья тема: письки, куклы, — ну сколько можно!

Да, решительно это не было интересно. Была какая-то тень брезгливости? Или даже отвращения? Пугала скука телесного, чисто телесного, без присутствия, без прикосновения высокого, которое вне тела?

Похоже, у нее это все было несколько иначе. Вот мы играли в машинки, это были грузовички из какого-то мягкого сплава, размером с книжку, они были покрашены дешевой краской в зеленое, с потеками, в кабине было место, но так мало, что солдатику туда засунуть не удавалось, они все укладывались в кузов и ехали на войну. Я переживал из-за этого вынужденного вранья, дед объяснял мне, что в их время вместо машин были лошади, но у меня не было подходящей телеги, чтоб разместить своих бойцов, и приходилось как-то выкручиваться и выдумывать всякую ерунду, ну а что, хороший урок для маленького мальчика. Я хотел на войну, на ту же самую, на которую дед ездил в юности. Надо было как-то же добить белых, дорасстрелять их, а то не ровен час наше сегодняшнее светлое настоящее схлопнется — и привет!

Как дети падки на пропаганду! Как легко и беззаботно нас учили убивать без тени сомнения, весело и даже с уклоном счастья! Кто-то одумался и соскочил с темы забавных убийств, кстати, непонятно, под действием чего, а кто-то так и застыл в равнодушном отношении к смерти, к чужой смерти. Хотя — чего уж мы про детей. Взрослые тоже очень легко ведутся на простенькие дешевые приемы. Телевизор творит чудеса, о каких Зворыкин и не мечтал.

ВОЙНА, НЕМЦЫ, фуражка

Дед разговаривал со мной на всяких языках. Чаще на украинском, это было для него как дышать. Я, конечно, перенимал и тоже лопотал, и понимал, и брался читать какие-то книжки с «і», «ї» и «є». После родители — когда я оказывался дома, у них, при том что мне толком не понятно было, где ж мой дом на самом деле, — поправляли меня и страстно переводили на русский путь, и в целом перевели. Я потом не то чтобы про это забыл, но как-то перестал думать, память перестала эту тему обкатывать. И когда мне случилось где-нибудь говорить на украинском, с людьми, которые русского не знали совершенно — с молодыми туристами из Канады, у них был украинец-дед, или со стариками ветеранами СС, которых живых было много еще в первые послесоветские годы в Пенсильвании, — они удивлялись, откуда ж это я, живши в Донбассе, знаю мову. Я что-то им бормотал в ответ про школьные уроки мовы, в таком духе, но и сам чувствовал: что-то тут не так, нету ведь в Донбассе украинского, вывески типа «Перукарня», или там «Їдальня», не в счет. Про жизнь у деда я как-то не додумался вспомнить и этим все объяснить.

Еще он говорил со мной на немецком. Который, по моим детским мысленным конструкциям, с фронта. Ну а как же, враги, война, как иначе, надо ж знать, не то какая бдительность. Небось, все так, тогда-то! Когда я из младшего младенческого возраста перешел в первоклассники, то узнал про то, как он с костылями своими, списанный вчистую, командовал пленными немцами на стройке, в войну и еще после. Это было натуральное погружение, и еще же, конечно, мотивация.

— Приходилось тебе фашистов убивать?

— Ну да.

— На стройке, да? Прямо там?

— Ну что ты. Они же пленные, без оружия. Нельзя так!

— А как же ты на другой войне, на прошлой, — стрелял же в безоружных? В совсем плохих?

Дед на это ругался, от волнения он просто заходился, казалось, вот-вот захлебнется, рука его скребла по бедру, и было непонятно, то ли он валидол пытается выхватить из кармана, то ли нитроглицерин, то ли рвет ремешок кобуры, которой внезапно почему-то нет на привычном месте. Он прогонял меня к моим, мне порученным, но почему-то в срок не доделанным делам.

Но немецкий мы с ним продолжали учить, вот так запросто, по-домашнему, небрежно, как в старину к благородным детям приставляли гувернера француза. А тут был не гувернер и не дядька, а дед, два в одном флаконе, от завязывания шнурков и метания ножичка — до иностранного и владения носовым платком. Он был ужасно недоволен моей манерой размахивать портфелем на ходу и решительно требовал держать руку строго вертикально, — и добился успеха. Я этому научился, представив себе, что это не портфель, а шашка на боку, и занятая ею рука не должна болтаться туда-сюда. Кстати, у деда, может быть, та же мысль крутилась в голове.

Надо сказать, что на русском мы разговаривали тоже. Правда, редко. Когда в дом приходил кто-то из чужих, почтальонша, к примеру, или гости, да хоть те же мои родители. В основном для последних это и делалось. Возможно, он не хотел их спугнуть, им, вероятно, казалось, что городская карьера лучше сложится с русским как главным. Такое у меня ощущение. Украинский был для них языком не престижным, сельским, простецким. Они его знали, замечательно понимали, он был не чужой, то и дело они сыпали пословицами и поговорками, и даже цитатами из песен. Но — задвигали этот второй язык, который в их юные годы был их первым и главным, назад, в темноту, за шкаф,

в чулан, мужественно и прогрессивно сражаясь с, как им, небось, казалось, идиотизмом деревенской жизни.

Да, дед и немцы. Такая тема.

Я знал и еще про одного своего деда, которого, правда, никогда в жизни не видел, и это было для меня трагедией с самого начала, трагедией, с которой я не желал смириться. Тогда мне казалось, что если не смириться — то непременно победишь и будет по-твоему. Даже если против всех правил и законов. Включая законы природы.

Там было так. (Никто, да, не забыт.)

Я сидел на диване. Рядом дремал вполглаза мой молодой отец, вернувшийся со смены, испуская запах пены от казенного хозяйственного мыла, а я плевал ему в пупок.

Открыв глаза на пятый мой тихий любовный плевок, он ответил:

— Прекрати!

— А то что?

— А то я от тебя уеду.

— Далеко?

— Далеко.

— «Только самолетом можно долететь?» А?

— Конечно.

— Я тогда полечу с тобой. Я на самолете тоже хочу.

— Не возьму я тебя.

— Как же так, ведь ничто не забыто, никто не забыт, а ты меня хочешь тут забыть? Сам ведь знаешь, что так не бывает.

Фразы из песен и лозунгов я запоминал тогда хорошо и таким образом достаточно натренировал память, для того чтобы позже, в школе, сделаться отличником — и фразы эти повторял часто, к месту и к не к месту. Чаще, конечно, некстати — ибо к какому месту можно пристроить эстрадные песенки и политические обтекаемые лозунги?

Мать, стоя в дверях, вздохнула и сказала:

— «Никто не забыт» — это не про тебя, это — про других.

— Это про твоего папу? Я помню, его в Волгограде убили.

- Нет, в Сталинграде... — сказала она, глядя на меня добро, улыбочиво, грустно.
- Значит, ты меня обманула опять? Говорили — Волгоград...
- Ты не понимаешь пока, — она вздохнула, — что я тебя не обманываю, это тут другое...
- У меня будет самолет, я слетаю туда и привезу его.
- Кого же ты привезешь?
- А твоего папу!
- Нет, что ты... — она снова вздохнула и подошла к нам, к дивану, — Он ведь в могиле.
- Ничего, надо только побрызгать его живой водой, как ты мне вчера читала, это же просто. Как ты сама раньше не додумалась!

Она не отвечала, она была уже на диване и обнимала отца, а он бормотал:

— Ну, ну...

При мне, думали они, можно, я ведь маленький. Но память у меня была иногда похожей на липучку от мух, что к ней цеплялось, то так просто не отдиралось уже. Я такого много запомнил, чего они и не ждали от меня, наверное, и моя памятьливость, если бы я порассказал о примеченном, удивила и огорчила бы их, и смутила б. Когда они были живы. Но это уже давно не так.

Я много, много думал о немцах... И — ничего хорошего. Да и с чего бы — хорошее? Было полно военных фильмов, и так уж фашистов не жаловали. Они были недостойны жить, и убивали их по сюжету, по сюжетам, несчетно. Казалось, что это вполне справедливо. Более того, это, кажется, было единственной формой справедливости, которая имела место в той жизни, что текла вокруг. Было все просто: немцы плохие и крутом неправы, они убивают (именно не убивали, а — убивают сейчас, в режиме реального времени, кино-то крутят прямо сейчас), ну так и их надо убить. Для них нету других вариантов, вот так!

Да, пожалуй, не было такого дня, чтоб я не мечтал убить немца. Может, лучше сказать — фашиста? Нет, это

слишком было сложно и слишком тонко для невинного дитяти. Немец — этим все сказано. А фашист — это было лишнее слово, которое ничего не добавляло, не прибавляло ни к чему. Просто ругательство, лишний эпитет, чисто для связки слов, чтоб этим шипящим словом проще было выразить свои чувства. Кстати, я потом в угольном сарае у деда в куче бумаг, старых газет и журналов, видно припасенных для растопки, отыскал старый «Огонек» за какой-то дремучий год, а там было про кровавую собаку Тито, который прямо обзывался фашистом, не будучи немцем даже хоть на малую часть.

Кино, ну и детские наши игры в войну. Мы там мочили немцев пачками. Где поймаем, там, бывало, и мочили. Виртуально. В мечтах.

— *Hände hoch!* — заорешь так, бывало, на игроков с той стороны, широко расставив ноги и наставив на врагов сосновый, грубой работы, автомат, который сперва называли просто немецким, а после, когда уж мы стали более продвинутыми, то и «шмайсером». В плен, что ли, их брать? Но нет — непременно кто-то из них не желает сдаваться, да как кинется на тебя! Ну и тут уж ты в полном праве устроить им тра-та-та, длинными очередями, а они, черти, не падают, мало им, так приходится еще и в рукопашной их добивать.

Мы, как бы красноармейцы, пользовались вражескими автоматами по той причине, что они были технологичней, проще в производстве. Досочка вдоль и две — покороче — поперек. А ППШ поди еще выпили, с его гнутой линией приклада! Списывали же все на то, что оружие трофейное, отнято у врага, мы им его же и бьем, и еще приятно было думать, что так им, фашишшыстам, обидней и больней. Знай наших.

Меня притягивал этот враг. Мало еще о чем думалось с таким волнением, приятным волнением! Надо, конечно, сказать, что дедовские уроки не могли мне дать всего немецкого языка, и я хотел большего. Я шел по этому пути, и было чувство, что меня с него никто не собьет. В какой-то

момент я накопил денег, семьдесят что ли копеек, и пошел в книжный, и там купил давно присмотренный и много раз мной листанный русско-немецкий словарь. Он был небольшой, но толстенький, серый, с синими буквами на обложке. Как мне теперь представляется, слов в нем было тысяч двадцать примерно. Я листал этот словарь, отыскивал слова, которые казались мне нужными, и повторял шепотом, чтоб заучить. Я хоть и медленно, но двигался вперед. Несмотря на то, что меня сбивала с толку нелепая буква «бета», непонятно зачем позаимствованная из греческого алфавита. Я научился ее выписывать, вернее, вырисовывать — «ß». Но долго не мог понять, как она читается. Но, наконец, выяснил, что это «ss». Не то SS, которое рунами, а просто двойное, ни в чем ни перед кем не виноватое «ss». Просто буквы, ничего лишнего.

Я сильно продвинулся в наших военных дворовых играх, поскольку легко мог выписывать всем желающим немецкие документы на «чистом» немецком, и к тому же как страстный рисовальщик снабжал бумаги кровожадными орлами.

— *Waffen hinlegen!* — орал я дурным голосом. Чего-то я, да, нахватался. И у геройского деда-фронтовика, и из словаря что-то черпал.

На войну я ходил в настоящей фуражке. Она была черная, но и не эсесовская, и не наша флотская, а какая-то школьная, кокарда там была в форме развернутой книжки, с некоторыми листками наподобие лавровых. Я после стал носить ее не снимая, и собирался в ней же и пойти в школу, когда в нее призовут. Но меня ждал предательский удар судьбы: школьную эту полувоенную форму отменили. Я вынужден был надеть серый форменный костюмчик мышинного цвета, как бы того самого, который был в моде у фашистов. Недованию моему не было предела. Я громко ругался, сквозь слезы, матом, призывая на головы виновных в этом злодеянии, предателей фактически, ужасные наказания, и сам готов был их перестрелять. Измена созрела в наших рядах!

ВОЙНА И МИР

Эта фуражка много значила для меня. Родителям она дико не нравилась. Наверное, она напоминала им про войну, пережитую в детстве, про солдатчину, про ремесленные училища и прочую казенную жуть, а они играли в современную городскую интеллигенцию. Шла же оттепель, и тогда, в 60-е, тоже некоторые думали, что страна заживет по-людски, в каждом доме, не обязательно на стене в рамке, но уж точно был хоть заваливающий Хемингуэй и какая-никакая черно-белая Софи Лорен, и интеллектуалам и интеллектуалкам, особенно в первом поколении, было с кого брать пример. Ремарк тогда был к нам запущен с картинками западной жизни, за то что он числился антифа. И вот родители заставляли меня носить берет! Отвратительный, девчачий, позорный, подсмотренный ими, видно, в каких-то французских лентах. Это было унижительно. конечно. Напяливать на себя такую дрянь, когда есть мужская твердая боевая фуражка! В которой было очень уместно участвовать в реконструкциях разных мелких боев Второй мировой, я был что твой Гиркин, я мечтал, кстати, об усах, эх, быстрее бы они выросли! В отличие от Гиркина я играл не в Первую мировую, которая была выпилена из нашего советского мифа и выброшена на помойку без возврата, а во Вторую, которая была физически ближе, понятней, памятной, свидетелей которой полно было вокруг и на которую мы так драматично, глупо и трагично опоздали, и это было несправедливостью, жуткой и до слез обидной.

Беретом тем меня пытали тонко и продвинуто. Я шел на улицу, к примеру, вечером жечь с ребятами костер.

— Костер! Вот еще... Ничего хорошего.

— Да как же без костра? — мне было искренне непонятно, зачем пренебрегать костром, который всегда разжигается замечательными людьми в какой-нибудь роскош-

ной обстановке, к примеру, разбойниками на привале или разведчиками, которые идут в тыл врага, или просто солдатами в походе, в таком духе. Родителям вся эта военно-коммунистическая романтика осточертела давным-давно, их тянуло к модному треногому журнальному столику (о как, аж журнальный, отродясь мы про такие не слыхали и думать про них не думали!), на котором лежит пара польских, то есть почти совсем западных, журналов с картинками из сладкой жизни. Кстати, *Dolce vita*, которая вышла в, чтоб не соврать, 1959-м и была роскошной сказкой для взрослых мечтателей — вполне достоверно описывала нашу русскую жизнь, какой та стала всего-то 40 лет спустя. В 1999-м у нас были те же, ну почти те же, презентации, похожие модели, итальянские костюмы, автомобили, купленные запросто, без очереди, в кредит, светские дамы, строительный бум, и так же, почти так же запросто, мы между делом заходили в рестораны, не коррумпируя швейцара трехрублевкой. Сорок лет — исторически ничтожно малый срок, таки да! В 60-е такая легкость бытия казалась фантастической и несбыточной, и ведь не стала же, а наши постаревшие, у кого еще к тому времени оставались, родители могли наблюдать за нашей светской жизнью *online* и даже давали себя затащить в ресторан иногда. А романтические большие фантазии детей — или застрявших в детстве взрослых придурков — мешали наслаждаться западной мечтой. Вот тот же я норовил сбежать к хулиганам жечь как бы военный костер, надвинув на лоб фуражку как бы не школьную, а офицерскую. И меня ставили перед мучительным выбором: если костер, тогда в берете! А в фуражке — тогда к костру не подходи. И не вздумай хитрить, мы все видим с балкона, будем держать тебя под контролем. Даром что у них не было бинокля, думал я, вспоминая про свою мечту — выменять у соседа его театральный на все, что угодно. Театральный жалкий бинокль в игре вполне б сошел за суровый военный, но это не сбылось

никогда. У меня разрывалось сердце — хотелось, чтоб и фуражка и костер, все сразу, выбор был мучительным, я делал его со слезами отчаяния, и иногда мне удавалось взять от жизни все и избежать наказания.

Странно, что берет считался когда-то сугубо гражданским. А как же десант, как же морпехи? Казалось бы. Но вот я смутно припоминаю, что десантников тогда показывали в кожаных шлемах, вроде летных, перед десантированием и сразу после, дальше же они бежали в учебную атаку, кажется, в касках. Как и те же морпехи. Небось, военным пиарщикам береты тогда казались, как и мне, совершенно не мужественными. Где-то в коробках с хламом я нашел старую карточку, это была еще сепия, на которой я наивным малышом лет четырех — снят в берете и, кстати, в матроске. И берет я ненавидел, и от матроски хотел отрезать пришитый к ней отвратительно гражданский фраерский галстучек, который портил все впечатление от вроде военного антуража. Я задумчиво рассматривал эту фотку и думал о том, что, стало быть, я уже пятьдесят с лишним лет ношу береты! До сего дня включительно. Удивительно, кстати, удобный предмет. Сколько я порастерял и позабыл шляп и кепок, особенно по пьянке, когда с этими головными уборами изменял берету, который мне навязывали, вызывая во мне страшное негодование, а ведь стерпелось, слюбилось в итоге-то! И все довольны... Берет не теряется, его засовываешь в карман, и никуда он не денется. Еще он замечательно прикрывает от дождя, берет — это как бы валенок, облегченный его вариант в некотором роде. Незаменимая вещь в дальних походах, когда-то в моде было это выражение.

И вот — особенно при фуражке — я любил помечтать о том, как мы с ребятами будем бомбить немецкие города. Картинку даже не надо было придумывать, крутом было много кусков хроники с таким сюжетом. Внизу какие-то квадратики, не разберешь, чего там, а из брюха старинного неторопливого бомбардировщика высыпаются авиабомбы дивной красоты, они выпадают и несколько секунд просто

опускаются, продолжая оставаться в горизонтальном положении — а потом как бы ныряют и дальше уже со свистом своих мужественных стабилизаторов летят головой вниз убивать немцев, осуществляя высшую замечательную справедливость. То, что кадры из старой кинохроники были ч/б, только придавало им красоты и жути. Была некоторая неувязка в этой моей картинке: война-то кончилась. Да ну, ерунда, думал я, все как-нибудь уладится, найдется повод, счастье будет, оно само придумает, как ему осуществиться! А этого хотят, конечно же, все люди доброй воли. Как иначе? Мы с дедом-2 как-то смотрели передачу про Восточную Германию, смотреть тогда было нечего, и там мелькал Вильгельм Пик, не очень нам интересный. Ну да пускай, че-то мельтешит, и ладно, все развлечение какое-то. — О, фашист какой! — сказал мимоходом дед, прихлебывая суп, он просто завис низко над тарелкой, словно штурмовик на бреющем.

— Так он же не фашист вроде, а хороший немец. Вон, говорят же, что он коммунист, наш вроде человек, а?

— Какой там наш... Все они там фашисты, уж ты мне поверь.

Кому ж было верить, как не ему. Он воевал и уж немцев повидаал.

Я эти слова запомнил. Замечательно запомнил. Детская память роскошная, в ней было много свободных гигабайт.

И конечно, я обижался на своего деда-1. Отчего ж он не навел порядок с теми пленными немцами? Отчего не перестрелял их? Ну ладно, не сразу, они ж были на стройке, работали на нас, — а потом-то, когда объект уж сдали и срок вышел, а?

Обижался страшно. От злости я исходил слезами, а деда ругал ужасными словами, даже самому было стыдно. Я всхлипывал и вспоминал материны рассказы про то, как она в нежные годы смеялась, когда в школе спрашивали про форму косточки. Ну какая ж у косточки может быть форма, она ж штатская? Форма только у папы-артиллериста! Она помнила китель, скрипучие ремни, петлицы

удивительной красоты и запах какого-то невозможно прекрасного одеколона, ни до, ни после ей такого не встречалось. Потом ее отца убили под Сталинградом, а они с бабой Верой и младшей Лидой куда-то ехали товарняком, поезд бомбили, они выскакивали из него ночью в степь. Так они добрались до города, и их пустили жить в коммунальную кухню, там можно было ночью спать, а как все вставали рано утром — надо было убирать свои постели из тряпок и чужого драного пальто. Баба Вера мыла подъезды и зарабатывала на сухари, какую-то крупу и на кусок мыла. Она была целыми днями на работе, а дети жили сами, как могли, как умели. Они тогда намучились и умерли после молодыми, от страданий и болезней. Этого я не собирался немцам прощать и не мог, не знал за собой такого права. Ну как же мог дед отпустить фашистов живьем в их фашистское логово? После всего?

(Баба) Вера девчонкой, считай школьницей, вышла за курсанта, моталась за ним, после родила детей, быстро овдовела и вывалилась из офицерской среды, из компании блистательных красавцев, из тогдашней элиты — в миллионную толпу нищих вдов без ремесла, без образования, без красивых планов в жизни, лишь бы прокормиться и детей на ноги поставить. Я помню, как ее дочки, уже после института, с ее зятьями-красавцами и со мной, карапузом, гуляли по парку, все наряженные, в богатых белых платьях, а она возле колеса обозрения торговала пивом из бочки на колесах. Налила зятьям и не хотела брать с них денег, они возражали. В общем, всем было неловко до крайности от всего. Она была, что называется, из простого народа, вот именно так. И страшно удивлялась, зачем я читал столько книжек, вместо того чтобы бегать по улице. Дед-артиллерист был в 42-м году капитаном с орденами, мог бы дожить до моего поступления в школу и даже в институт! И я был бы внуком даже и генерала, отчего ж нет! Старик рассказывал бы мне, как бил фашиста под Сталинградом... Я б рассматривал его ордена, а так-то из них ни один до меня не добрался.

Моя подружка доставляла мне чем дальше, тем больше хлопот. В молодости, да и после — у всех так, но в дошкольном возрасте это, пожалуй, несколько слишком и как-то преждевременно. Украденное, можно сказать, детство. Почему я не играл с мальчишками? Только с ними? Может, меня утомляли их простодушие и агрессивность, мне это наскучивало. Маленький мальчик — это все же примитив. Ну, война, ну драки, ну метание ножица — дозированно это даже и хорошо. Но этот бесконечный, бессмысленный, тупой футбол вызывал во мне отвращение. Я когда-то даже играл, стоял на воротах и давал щедрые пасы, я забивал, посылая мяч в неожиданный угол ворот так, что еще два миллиметра — и штанга! Но занятие казалось мне пустым и излишним, это было все равно что сесть за обед, только что пообедав, глупо и скучно, этого хочется избежать и нет смысла терпеть. Мальчики были грубыми, что меня коробило, мне не нравилось, что из них почти никто не читал книг. Так что говорить с ними можно было мало о чем. Тоска смертная. Девки же читали, не всегда правильные книжки, но тем не менее. (И потом так было всю жизнь, к моему удивлению, с этим книжным сексизмом. Я даже стал думать, что книжки только для девчонок и пишутся. Точнее, только ими и читаются.)

ВОЙНА И МИР-2

У меня было несколько пистолетов (откуда мне знать, то ли в Донбассе пацаны так любят оружие, то ли это по всему постсоветскому пространству или и вовсе планетарно), но ни один меня не устраивал. Они все были какие-то убогие. Один — нелепого салатного цвета. Другой сделан из жести, вроде пистолет, но по бокам были нарисованы и малозаметными выпуклостями обозначены половинки револьверного барабана. При нажатии спускового крючка внутри оружия щелкал тугой механизм, и из ствола вылетала пластмассовая пробка, которая была привязана к чему-то там внутри и давала шлепок, напоминавший про Новый год и ловко открытое шампанское. Был и револьвер, из той же жести, но она была покрашена черным, барабан крутился, и стрелять можно было пистонами, которые при ударе давали более или менее военный героический звук и, что было еще прекрасней, — запах сгоревшего не то чтобы пороха, но вполне дымный и мужественный. Все портил глупый невесомый барабан, который крутился легко, как флюгер, много позже я увидел похожий, только большего размера, в храме у буддистов, его надо было крутануть, а дальше он сам, весело и беспечно, — и резко вспомнилось детство.

Я же хотел пистолет «как настоящий», это так называлось у нас тогда, без смешных игрушечных деталей и без невинных, далеких от оружия, линий и изгибов, а в жесткой безжалостной стилистике. Воображаемое убийство врага не перестает быть убийством, это резкая граница с мирной вегетарианской действительностью. Убийство, даже, скорее, убийства, совершаемые в воображении, — тяжелы и удушающи. Как позже мы прочли про то, что если ты совершил прелюбодеяние в мыслях, то это, грубо говоря, та же ответственность, что и в реале, так и — по

этой логике — мысленное преступление льет воду на ту же мельницу, что и грубое реальное. Небось, не на пустом месте начитанные (хватило б и Книги) скандинавы отбирают у своих пацанов пистолетики, а на кой!

Я сообщил деду о своих мыслях по поводу оружия. Мне казалось, что это его долг — сделать мне пистолет, какой был у него, причем именно в первую войну, а не во вторую. Не помню деталей обсуждения, но он согласился, и на следующий день мы вместе вошли в оружейную кузницу, то есть в его пропахший солидолом сарай. Из обрезка соснового бруса он сперва выпилил, а после подправил рашпилем и ножом некий как бы обрез фашистского шмайсера, что было, как я радостно отметил, весьма технологично, и это был — я тогда вникал в обрывки информации про оружие — не то браунинг, не то кольт 1911 года. Меня несколько огорчали только грубо прорезанные пазы на деревянной имитации ствольной коробки, наличие которых приводило некоторых двоечников к мысли, что пистолет двуствольный. Наконец я все же получил из дедовых рук «настоящий» пистолет, а не дешевую штамповку, чуть не написал «китайскую» — но о Поднебесной тогда напоминали только здоровенные, полутора-наверно-литровые термосы, выкрашенные темно-красным лаком, с колбами тончайшего зеркального стекла, а больше ничего, если не считать картинок с портретами Мао в старых «Огоньках», которые не принято было выбрасывать на помойку, — это была культурная ценность. В моем чистом детском понимании это была передача эстафеты: старик, если не старец, передает молодому, не то что богатырю, но железному солдату — чуть ли не свое личное оружие. Это было не более чем волшебной картинкой, которую маленький мальчик показал сам себе в своем воображении, и этой игрой воображения, кому-то может показаться, легко пренебречь, со смехом причем. Но — какая ж наивность — если бы это было так! В этом мире нет ничего сильнее волшебных картинок, они и солидный мозг легко прожигают, а что уж говорить про чистых детей. Это выжженное изображение

после сильней всей жизни и всей смерти, и с ним ничего не могут сделать ни железо, ни свинец, ни книги, ни тайфуны, ни прочие уроки.

Я спал с тем сосновым пистолетом, кольцом образца 1911 года, под подушкой — как мой дед в 1919 году в украинском селе, где враг мог выскочить в любой момент отовсюду. Я осознавал, что дед был невероятно счастлив тогда, но время героев истекло, и такого счастья больше не выпадет никому и никогда. Засыпая, я думал про то, к каким играм склоняли деда в его дошкольные годы его подружки. Да может, он им всем жестко отказывал! Сегодня, впрочем, рисуется пасторальная картинка с мирными стадами, которые умножают поголовье легко и весело, между делом, разумеется, на глазах у детей совершая однообразные движения.

...Отец купил мотороллер и тем как-то приблизил меня к героической мужской жизни. Техника, железо, приборы, блестящие детали, запах бензина, дыр-дыр-дыр, тархетение, скорость, полет. Это была «Вятка», в девичестве, конечно, «Vespa». Белая, легкая, изящная, с волнующими линиями. Все вместе это было отвратительно и унижительно. Ну, вот как мог взрослый человек, мужчина, завести эту белую игрушку, совершенно девчачью, на которой можно ездить даже в юбке, как на дамском неполноценном велосипеде? Когда можно было на те же деньги купить мощный мужской, практически военный, инструмент, куда можно и коляску с пулеметом прицепить при необходимости? Если не армейский зеленый, то уж по крайней мере суровый черный? Но даже и без пулемета и без коляски я мог бы, сидя сзади, мысленно ехать на нем куда-то на войну, заниматься важной мужской деятельностью. В случае с девчачьей выпендренной модницей «Вяткой» на ум приходили разве только аттракционы в парке. Чтобы на них кататься, надо было сперва дать себя уговорить.

Но и «Вятка-Vespa», несмотря на всю свою отвратительную несерьезную красоту, было у девочек такое выраже-

ние «куколка-балетница-воображала-сплетница», вот как раз оно! — дала нам, ну, мне — искомый героизм и подход, подъезд к вполне военному риску, к подвигу, к катастрофе, из которой чудом только выходишь живым, к посещению раненого товарища, который в беспамятстве и в горячке мечется по койке, разметывая простыни — как в хорошей крепкой военной мальчишеской книжке со стрельбой и взрывами, — когда страшно хочется отомстить, да вот только нету такого врага, чтоб можно было с ним поквитаться.

Мы вдвоем, штурман и пилот, мчались на нашей «Вятке», которая в моем милитаристском (победа или смерть) воображении была, то есть был, страшным мотоциклом, — и вдруг он вильнул, как будто нас задела фашистская пуля — мотнулся в сторону, я почувствовал удар — мы перевернулись и упали, а я улетел в сторону. Дальше шум, гам, крики, ор, отец лежит в крови, головой на бордюре, не шевелится, я чуть в стороне, я ощупываю себя, все вроде целое. На голове у меня летный шлем, пилотский, он не застегнут только ремешком, как положено, а завязан, там тесемки вместо военной кожи. Отличие, о котором я старался не думать и не думал, — шлем был покрыт рыжим мехом, крашеной овчиной. Он был плотным и мягким, удар оказался слабым до незаметности. Мы были в полете, с боевым заданием, но попали под вражеский огонь, мне надолго хватило для моих игр, для военных сеансов, этого мощного впечатления. Оно не ослабевало долго еще и потому, что посещения отца в больнице, куда он надолго залег с сотрясением, были, конечно же, походом в госпиталь, где лежат раненые герои. Один сбитый летчик пришел повидаться с другим сбитым летчиком, простая история, нормальная ситуация, кратковременный заезд в тыл. На переформирование. Сосед и отцовский друг Юра Рыбалко готовился произвести замену в команде, он озабоченно говорил моей матери, замечательной в те времена пышной красавице, что, в случае чего, позаботится о старом солдате (то есть обо мне), но главным образом

о ней, и каким образом — было видно по его горящим глазам, и еще он краснел от волнения. Я отнесся к его плану спокойно, понимая, что дядю Юру убью легко и с уколом даже счастья, он понесет заслуженное наказание, я вынесу приговор и сам его приведу в исполнение, мне не впервой. То есть на самом деле, конечно, на тот момент я был невинен и девственен во всем этом деле.

Отец, которому я рассказал про коварный преступный замысел дяди Юры, предателя и изменника, долго смеялся, долго — до самого своего ухода на пенсию. Он после еще долго жил, но уж не вспоминал про Рыбалко. Тот сделал карьеру и уехал в Кузбасс навсегда.

Серьезно я план Рыбалко не рассматривал, я был уверен, что сам смогу стать главой семьи прям сразу. Если чего не соображу сразу, то спрошу у деда, как быть. Будущее наше было обеспечено, денег полно, я видел в шкафу на верхней полке, куда я забрался, подставив стул, тонкую, но все же пачку сиреневых банкнот, на которые можно было долго и счастливо жить. Откуда в доме взялось такое несметное богатство, я догадаться не мог, да и не слишком из-за этого волновался.

Моя подруга была не первой моей любовью, конечно. Поскольку первая бывает, как всем известно, томной и платонической. А была она, соответственно, второй.

Первой была Лена, тонкая и субтильная, не такая корпулентная, как Марго. У нее была, как сейчас помню, тонкая, как бы прозрачная, кожа, с голубыми нежными венами, которые просвечивали, как сквозь папиросную бумагу, с большими светлыми глазами, беззащитными от близорукости, с тяжелыми, хоть и детскими, очками, через которые она смотрела на ноты и разбирала их, не видя в этом, в отличие от меня, никакой такой ужасной тайны! Она била по клавишам взрослого черного лакированного пианино, я тоже мог бить не хуже, а даже и ловчей, и сильней, но у нее получался не собачий вальс для собачьей свадьбы — но волшебный переливающийся звук. Как это

возможно, как хитрая последовательность ударов может уместиться в скромном мозгу в маленькой голове, я не способен был понять, да, кстати, и сейчас не в силах. Когда я слышу небесную музыку, и нигде не видно нот — я чувствую себя невероятным дураком, и это, возможно, тот самый момент истины, которого ищешь и ожидаешь всю жизнь, а прикоснувшись к нему или только приблизившись, пугаешься и прячешься, и врешь себе, что это не истина, а так, ерунда.

Нам было, кажется, по пять лет, когда мы куда-то уехали, надолго, вдвоем с ней на роскошной голубой «Волге» с оленем, сняли крошечный домик на морском берегу, обедали персиками и дынями, и какими-то удивительными сардельками со страшной убийственной горчицей, которая вызывала счастливые слезы. Но иногда днем мы лежали на разложенных сиденьях красавицы-«Волги», от нее остался только олень, я видел его в гараже, в ящике с инструментами, он тяжелый и прекрасный. Мы лежали и шептались, иногда на расстоянии, но бывало, что и прилепившись друг к другу, я еле сдерживал счастливые рыдания, видеть перед собой так близко ее лицо дивной красоты, какой я после никогда в жизни больше не встретил, — и это, наверное, были лучшие минуты и часы всей моей жизни. Машина стояла под богатыми деревьями, в роскошном южном лесу, на огромной мягкой подстилке из хвои, в окна шел густой вкусный непонятный запах, запах юга, смолы, кипарисов, шишек, — всего того, чего нет в тоскливой домашней холодной жизни.

Дальше я жил разве что для того, чтоб повторить те райские минуты, с кем-то другим, отчего-то не с ней, пусть слабей и бледней, но уж как-то, хоть как-то. Я не раз подумывал об окончательном решении вопроса, как это бывает с каждым в случае несчастной любви, ну или счастливой, которая оборвалась раньше, чем подружка тебе наскучила и осточертела, но, понятно, не все в таком признаются, конечно, это унижительно, опустительно. Но — так и не отважился.

Да, конечно, тогда нам пришлось взять с собой несколько взрослых, куда ж тронешься в путь без шофера, без кухарки, стирка-глажка, подай-принеси, еще же коробка с лекарствами, зеленка, покупка игрушек первой необходимости — двум юным любовникам, даже и платоническим, одним такое не осилить. Взрослые — неизбежное зло, да. Надо спокойно к этому относиться...

ЛЮБОВЬ И БОИ

В КРЫМУ

Мы часто ругались с Марго.

— Да черт с тобой! — орал я. — Я пойду в летчики или — чтоб далеко не ходить — вон, буду командовать военными грузовиками, тем более что меня в море укачивает, в прошлом году на катере один раз укачало.

Отец, держась за поручень, курил, рассматривая крымские пейзажи, и уж совсем было вознамерился бросить окурок в волны, но я схватил его за руку:

— Ааа! Стой!

— Да что такое?

Море казалось мне чужим и страшным, да и хрен с ним, с адмиралом, кругом была смертельная опасность:

— Ты бросишь окурок, он дымится, — и море взорвется! Кааак вспыхнет! И нам конец. Не делай этого! Пожалуйста! — умолял я со слезами. Отец убрал мою руку и улыбнулся, и выкинул бычок. Он бесшумно и бледно, без даже легкой вспышки, беспомощно пропал в волнах.

Мы лежали, да, на огромной софе, в которую превращались разложенные сиденья «Волги» с оленем, авто было, кстати, содрано с американской машины... забыл с какой, — первое было не из двух отдельных кресел, но — представляло собой роскошный кожаный диван с кожаной же, то есть из кожзама же, спинкой. Получался фантастический комфорт и удивительный интим, каких не достигнешь никогда на диване, стоящем в унылой скучной повседневной комнате. Глупость взрослых, разумеется, не знает пределов, для чего ж прозябать в квартирах, когда можно жить в автомобиле, ездить с места на место, перемещаться из одной красоты в другую, и спать счастливым сном рядом с пре-

красной подружкой — сегодня на морском берегу, завтра в южном лесу с пронзительными запахами, с густым тяжелым вкусным воздухом.

О, если бы нашелся кто-то, кто б отучил детей от убийственной этой рабской покорности людей, которые перевалили за пятнадцать годков и сразу или постепенно ушли в маразматическую старость... Пока никому это не удалось, и дети влачат свои дни в неволе, посреди убожества и уныния бессмысленных тупых будней.

Лена была тончайшая, как бы хрупкая, несломанный цветок, чудом несломанный, она была как быстрый рисунок, ее белые носки с какими-то ненужными совершенно лишними бантиками вызывали во мне растроганность и умиление, девчачьи вещи, которые были на ней, — из-за нее переставали быть глупыми, и смехотворными, и тупыми. Становились простительными и даже немного симпатичными, через мою красавицу. Какое счастье, что явления жизни разворачивались именно в таком порядке, я страшно благодарен за это, уж не знаю кому. Дружеское совместное распоряжение гениталиями — вещь, конечно, неплохая, и способна скрасить пустые дни, одинокие вечера, неудавшиеся жизни. Но это слабо связано с глубинным током смыслов и потому не оставляет шансов на счастье, которое только и возможно, когда все чисто, когда низкое и высокое не смешиваются друг с другом, не мешают, а как-то поддерживают гармонию, без вражды, — а то и сливаются, переплавляются в новое вещество с неожиданными свойствами. Это трудно объяснить, про это в другой раз, может быть.

Именно такой порядок, эта постепенность погружения в жизнь и выстраивает матрицу на все оставшееся время человека. Если все делается быстро — то радости от жизни не будет. Ну родился и завтра умер, — и что? Как будто ничего и не было. Съесть даже и роскошный обед за пять минут, давась, — ничего не распробуешь. Выпил три бутылки вина за десять минут и свалился на диван какофонично храпеть — хоть *Château Margaux* тебе дай 1981 года,

все будет зря. А сесть за стол с накрахмаленной скатертью и не торопясь, врасстяжку, плавно превращая обед в ужин, вон с этим же самым вином, да можно и с чем попроче, не забыв и про аперитив, перебираться от закусок к горячему, и далее — к десертам с дижестивом — это совсем другое, это иные сферы, высокие и ясные, куда даже если заглянуть — и то роскошь, это поменяет твою жизнь разительно, дав тебе прицел, который не собьется до самого конца. Впрочем, и с едой, такой простой вещью, не все всем понятно, большинство ограничивает себя и обкрадывает. Сравнение еды, обеда с женщинами, скорее всего, неудачное и мало кому будет понятно, хотя оно страшно близко к истине; непонятно, главным образом, из-за моего казенного тяжелого языка, он стал таким от занятия унылыми науками, в которые я подался, не сумев — по ряду причин — броситься вслед за дедом, который прожил яркую роскошную жизнь, прошел по ослепительно сверкающему сказочному пути, впрочем, это уж другое, об этом, может, как-нибудь позже.

Да, она была больше растением, чем зверушкой. Скорее флорой, чем фауной. Растением — причем не холодным, но прохладным, свежим, и да, чистым. Все — медленно, постепенно, врасстяжку, смакуя, растягивая удовольствие. Сперва этот северный нежный цветок, после жизненный густой сок маленького, но уже всерьез проснувшегося тела, потом снова платоническое опьянение новой девчонкой, которая была уже вовсе не куклой-голышом с виду, а уже раскрывающейся просыпающейся природой, которая приходит в себя и сама себе удивляется, рассматривая — иногда в зеркале — свои припухлости, то ли еще детские, то ли уже далеко нет. После — снова платоническое мучение, вполне, впрочем, приятное, в глубине своей природы каждый хоть немного мазохист. Когда новый центр желаний и жизни — в красавице, вполне уже созревшей и выпуклой, магнитной и теоретически готовой к открытию. Затянуть этот процесс — вот наша задача, и не надо тут ждать милостей от природы. Отложенное удовольствие, собственно

говоря, — единственный доступный нам способ получения радости жизни. Не получения, но — добычи этих порций счастья! В грамм добыча, в год труды или как там. Это вот и есть первая любовь в чистом виде, какая у всех счастливых, когда приз вот он, бери! Кто возьмет, тот испортит себе все самое тонкое и роскошное. Оставив только владение предметом. Вот он, в твоих руках, весь вроде твой, а где же радость?

Проснувшись, просыпающаяся природа закрыла от меня прочий мир в, пардон, Крыму, который когда-то был роскошным и ни с чем не сравнимым, и соревноваться с ним мог только Кавказ, а больше никто и ничто в подлунном мире, который, впрочем, был страшно мал. Третий претендент на статус единственного рая — а зачем их несколько, рай должен быть единым и неделимым, цельным и единственным в своем роде, иначе весь эффект от попадания в него смазался б. Ну какая ж Прибалтика, нереально. Поездка туда была не экскурсией в рай, а попыткой бегства из человеческой жизни в иной мир, мысленным экспериментом: «А давайте себе представим, что в нашей Вселенной другие законы, и потренируемся жить в их рамках!» Рай все же не место для экспериментов, как мне представляется, а точка счастья, и зачем же с ним играть в игрушки, жонглировать хрупкой посудой. Федору Конюхову уж там не место, нет, ему в дальние суровые края, где вместо счастья и неги — суровый бой. Крым в этом смысле вполне удавался. Густой воздух, в нем хвоя и трава, и плоды. Пальмы, разумеется. Теплая мягкая земля. Солнце, солнце, тепло, слабый ветер. В раю невозможны ураганы. Ну, разве только для обслуги, когда разъедутся в свои унылые пыльные поселки счастливичики-экскурсанты.

Кажется, я там впервые увидел кипарисы, мы собирали под ними тугие зеленые шишки и убивали ими друг друга на разных войнах, которые непрерывно шли между вторым корпусом санатория и третьим, бросали их в противника, и это были не то пули, не то гранаты, нечто вполне смертоносное. Моя красавица, ей было тоже восемь лет,

в затишьях между боями становилась в рискованные тревожащие позы, ну то есть отставляла одну ногу чуть в сторону и разворачивала ступню наружу ли, внутрь ли, главное было сломать казенную строгую прямую тему. Хороша она была и сцепив руки за спиной, ах, я такая беззащитная и открытая. И вот, провинциальное (она была, как сейчас помню, из Харькова) кокетство — склоняла головку на бочок, это был немислимый какой-то разврат, при том что мы в те времена не слышали слова «нимфетка», хотя оно уже облетело к тому времени весь мир и за те десять лет его вполне покорило и наполнило приятным симпатичным ужасом на уровне вполне даже и смутно маячившего где-то впереди расстрела. Ну, а что, любовь и смерть всегда идут рука об руку, какое ж может быть острое счастье без риска и без ощущения близости смерти, без невидимого барьера, который невозможно перепрыгнуть, но который тебе дает понять, что ты жив, что ты *пока* жив. Платье, сандалии, какая-то ленточка в волосах, купальные ее трусы, на которых был узор из малинок и листьев, и никакого лифчика, хотя, конечно, уже бы можно было, можно, да, можно, хотя это выглядело все еще игрушечно. Засыпая, я представлял себе ее в своей постели, она просто лежала рядом, просто лежала! И легко дышала, ее дыхание было какое-то неразборчиво фруктовое, я иногда ловил его днем, случайно, когда она подносила мне боеприпасы, эти вот зеленые незрелые шишки, можно сказать шишечки, размером где-то с те, что были у нее.

дедь (начало)

Дед был человек старой закалки и до странности строгих принципов, которые у него, кажется, не менялись года этак с 1920-го. Не только взгляды на жизнь, но и сам он хорошо сохранился: в 90 лет он делал по утрам зарядку и выходил на прогулки по городу. На ходу он припадал на правую ногу в уродливом ботинке, сшитом на заказ в цеху для инвалидов, и стучал по асфальту толстой лакированной тростью. За долгие годы он привык в праздник выпивать стакан вина и выкуривать пару сигарет, а прочих излишеств давно не знал. Образ жизни его и вправду был вполне здоровый. Из полезных привычек у деда, кроме зарядки и прогулок, были еще земледельческие упражнения на огороде, ежедневное питье воды «Ессентуки» из темно-зеленых тяжелых бутылок (в углу за диваном всегда стоял початый ящик) и употребление в пищу — он уважал такие диетологические термины — сушеной морской капусты из аптеки.

Дед провозглашал такой взгляд на вещи: следует жить скромно и ставить общественные интересы выше своей выгоды. Эту теорию он простоудушно воплощал в жизнь. Они с бабкой небогато жили в небольшой белой хатке, где главным украшением был наполненный книжками, впрочем, совершенно случайно подобранными, шкаф. Как это иногда бывает среди, что называется, простых людей, которых зачем-то тянет к культуре, у них ценными считались все книги сплошь, они искренне верили, что в каждой можно найти что-то умное.

А еще на стенке в доме висел фотографический портрет Сталина, под стеклом, в рамке. Вождь там был строгий, черно-белый, слегка размытый. У нас в семье, вот ведь бывает такое, никого не расстреляли, и даже никто не сидел (кого закрили на пару месяцев за пьяную драку с ментами,

те не считаются). Так что старик Джо для нас, дедовых внуков, по суровости стоял не выше школьного завуча, тоже вполне себе диктатора. Вот оно, счастливое политическое детство! Пожалуй, так оно и лучше; когда человек с молодых ногтей ненавидит номенклатуру своей страны, кому от этого хорошо? Работа ненависти хорошо б начиналась попозже, если уж ее не избежать...

В том же шкафу на полке стояло слоновье семейство, но не белокаменное как у всех, а красного дерева — дальний родственник привез из Индии, где строил какой-то завод. Кажется, больше ничего импортного в доме не было, — ну еще разве что китайский термос времен до Культурной революции.

Дед сам жил строго по своим правилам — и другим хотел спрямить путь к правильной жизни, какой ее видел. «Железной метлой загнать к счастью», *soft* версия. Он рвался пресекать чужую нескромность и алчность, которые считал, пожалуй, главными пороками. Уйдя на пенсию, он записался в какие-то общественные комиссии и стал разоблачать завмагов, которых дико не любил:

— Если человек мясом торгует, значит, он и другого человека легко сможет продать! Их всех надо посадить, а судить только через пять лет! Невинных не будет! И суд еще добавит!

Это было логично; если человек в 20-е служил в Харьковской губчека и в ЧОНе, то с чего ж подозревать его в либеральных взглядах. Из всех его внуков только один — который жил далеко, видел деда раз в год и был от его влияния свободен — серьезно занялся бизнесом. И был однажды найден убитым с отрубленной правой рукой. Это многие поняли так, что у человека были проблемы с братвой и он собирался писать заявление в прокуратуру; да и какую еще трактовку тут придумаешь? Похоже, он в чем-то все ж пошел в дедушку-чекиста, который тоже не любил бандитов, но, правда, решал с ними вопросы более успешно.

До ЧК он делал комсомольскую карьеру, а еще раньше был подмастерьем на мелком заводике, куда попал из села,

едва закончив три класса. Я раньше злился на русских крестьян, которые зачем-то встали на сторону красных, вместо того чтобы записаться к белым. Но что касается деда, то, как теперь мне кажется, он шел ясным и прямым путем. Раз уж люди ищут в жизни приключений и смысла, и нового опыта, и пафоса — так крестьянскому парню все лучше было с унылых чужих десятин и тоскливого сельского быта податься к красным, которые валили старую элиту и становились новой. Нешто лучше быть незаметным винтиком в старой иерархии, непонятной и составленной из чужих людей? Думаю, уход к красным легче простить темному крестьянину с тремя классами, чем блестящим офицерам и даже генералам, которые перебежали к полевым командирам, типа Чапаева, позабыв про присягу. Да офицерам, кстати, и не простили, они после за все ответили. А дед своих, какими б те ни были, не сдавал — и так получилось, что прожил долгую и вполне счастливую жизнь.

Я еще в школу не ходил, а дед уже считал своим долгом учить меня ремеслам. Он возился с инструментами в сарае, сколачивая и выпиливая что-нибудь простое и нужное для хозяйства. И мне выдавал напильник или рубанок, я сопел, потея от ответственности. Помню запах опилок, солидола и какого-то дуста, им травили вредителей садов. Слово «вредители» дед произносил особенным голосом, полным негодования и смысла. Короеды да отдельные прозаические завмаги, упрятавшие под прилавком пару палок копченой колбасы, — больше ни на кого у деда не было лицензии в новые вегетарианские времена. Все прочее из чуждого он мог только бездеятельно ругать.

Кроме ремесел, дед учил меня иностранному. Единственному, каким владел. Он мне его преподавал в том же объеме, что и сам знал. Дело тут, может, не столько в наших с ним талантах преподавателя и отличника, сколько в скромном объеме курса. *Weg, Esel, Schwein, arbeiten, schießen, komm zu mir, los, Meßer*. Важнейшим же словом он считал *Brot*, полагая, что, зная его, с голоду не пропадешь. Если ты знаешь слова, чего ж еще надо? Исполняй написанное — и будет

правда, все будет хорошо, чего ж проще! И прочь сомнения! Я жил тогда с этим прекрасным свежим чувством. Я знал, как устроен мир, как жить, и было счастье. Мне казались несчастными мои циничные товарищи, которые получали двойки, плевали на отметки, презирали учителей, — они жили в мрачном несправедливом мире. Зачем? Когда так легко выйти на свет? Достаточно легкого усилия воли...

Я в детстве, насмотревшись истернов про доблестных чекистов, сочувствовал деду:

— Зачем ты так рано ушел из ЧК? Если б остался, то и сегодня ходил бы расстреливал нечестных завмагов, и счастья и справедливости в этом мире было б еще больше, — святая простота!

Он молчал; про ЧК он не очень любил, особенно в первые годы наших бесед. Про войну было куда легче и веселей. Я насмотрелся расхожих сюжетов, где наши элегантно, играючи побеждают глупых фашистов, и всякий раз после кино требовал от деда устного продолжения, предвкушая рассказы про подвиги. Про подвиги было мало, но в целом воспоминания деда были мне понятны. Вот он где-то под Питером воюет в лыжном батальоне; лыжи у меня есть, добавить к ним еще красивый автомат с диском, — и беги вперед!

— А много ты немцев убил?

— Идем лучше работать. Нам надо еще много полезных дел сделать.

— Ну-у-у...

— Все, все. Идем.

— А расскажи про Гражданскую! Зверства белых там, героизм красных, ну расскажи!

Пожалуйста.

Вот одна навскидку. Отец Сергей, который преподавал деду Закон Божий, поссорился с красным партизаном Волощуком. Вот, говорит, белые вернутся, припомнят вам ваши ревкомы, а вы все — бандиты! Дальше дед давал комментарий, — на его взгляд, как я понял, очень взвешенный и обтекаемый:

— Волощук проявил невыдержанность и применил телесное наказание. Шомполами. Это правильно — что ж поп белых ждал! Мы не жалели Сергия, потому что он же и нас лупил в школе!

Дальше он объяснил, что наказание было «тем более грубое, что через несколько дней привело к смертельному исходу». Батюшка три дня после этого пожил. Волощука вызвали в уезд, наказали: сняли с командования. Его вот в чем упрекнули: «Зачем же ты принародно, а?» Списали это на его малограмотность.

— Был бы пограмотней, бил бы тайком, — такое резюме выудил я из рассказа.

Еще я хотел историй про комиссаров, героических парней в кожанках. У деда как раз были знакомые комиссары, одного он помнил по имени-отчеству — Андрей Данилович, а другого по фамилии: Кандыба. Оба, правда, поврозь по ночам ходили по хатам, вежливо просили самогонки, а выпросив, напивались каждый в одиночку, и далее, вместо того чтобы рушить до основания старый мир, мирно ночевали в скверике; знаете ли вы украинскую ночь? Однажды у пьяного Кандыбы, спавшего на свежем воздухе, украли шашку, и это его сильно огорчило.

После дед записался добровольцем на Врангеля, хотелось участия в масштабных проектах, но его почему-то не взяли и кинули на местный комсомол. А ему так хотелось повидать красоты Крыма и поискать там приключений! Он возмущался, жаловался, дошел, по его словам, аж до самого Фрунзе, — но ничего не помогло. Его рассмешила тогда комсомолка из местных, которой тоже не удалось съездить в Крым за казенный счет. Ее спросили: «Какое у тебя социальное положение?» «Снасилована казаками». Это казалось им очень смешным, вот ведь какой темный народ, не знают, что такое «социальное положение»! С другой стороны, социальное положение — под казаками...

И вот дед вернулся из губернии, где шел набор в Крым, к себе в село, а там в клубе как раз танцы. Дед был не в настроении и испортил всем праздник:

— Люди сейчас кровь проливают, значит, а вы тут что, танцульками занимаетесь? Прекратить это дело! Танцы отменяются.

Послушались. Разошлись.

В клубе кроме танцев был еще самодеятельный театр. Режиссером был директор школы. В праздники он зазывал комсомольцев-активистов к себе домой и угощал самогонкой. Почти все — его ученики бывшие, как не пойти? Шли, пили с человеком. Его уважали за серьезность и строгость, и за оригинальность. Сельских парней впечатлял тот факт, что директор не брился, а намазывал лицо какой-то персидской грязью, и волосы отваливались. Это был пионер эпиляции, который поспешил родиться и опередил свое время. Кроме эпиляции старорежимный директор увлекался алкоголем. Пил он серьезно, до белой горячки. Еще было известно, что революционными преобразованиями он был недоволен. По какой-то из этих причин — а может, по обеим сразу — он раз бритвой (сгодилась-таки на что-то) чиркнул себя по горлу, но ему не повезло: спасли. Впрочем, после он-таки зарезался, как мечтал.

Клуб потом пришел в упадок, его разграбили сами местные — революция же, экспроприация. Тащили кто мебель, кто серебро, кто картины, а председателю ревкома приглянулись ковры. Он их утащил и спрятал под стожок. А кто-то ему этот стожок «запалил», так ковры обуглились.

Несмотря на то что деду не удалось добраться до Врангеля, какие-то приключения он себе нашел без отрыва от повседневной текучки. В условиях развитого военного коммунизма даже глухая сельская местность сулила парню из волостной номенклатуры богатые впечатления. Надо ему было, к примеру, ехать в уезд — шел в сельсовет и требовал там какую-то из обывательских подвод, они дежурили по очереди. Его довозили до ближайшего села, там он пересаживался на другую подводку. Так новая власть устроила некое подобие системы почтовых станций. Действие происходило как бы в декорациях повести «Дубровский». Сходство усиливали и бандиты, которые грабили не хуже

кистеневских, а по кровожадности их заметно превосходили, отрубая комиссарские головы и от чувств нанизывая их на плетни.

Выбрав село для ночевки, дед шел там в сельсовет, и сотский вел его в назначенную хату на постой: «От к вам большевик». Его кормили — что сами едят, то и ему. Если угощение было скудное, дед посылал хозяев по соседям, потребовать сала для проезжего коммуниста. И люди давали! Бесплатно причем.

В лесные районы, где банды, дед на подводах не ездил. Добирался он пешком, в стороне от дорог, через лес, часто ночью. А если останавливался где ночевать, то сперва устраивался там, где назначили, а после перебирался подальше в какой-нибудь сарай и там спал с пистолетом под рукой. Нехватка комфорта не очень огорчала, это окупалось экстримом, адреналином. А вот размаха хотелось. Героического масштаба. В конце концов деду удалось-таки попасть на настоящую важную службу, как он хотел: в Харьковскую губчека. Его, новичка, повели по зданию, показать, где что. В том числе и подвал. Распахнули дверь, и дед прям отпрянул.

— А что такое? Что тебе не нравится?

— Что ж за вонь у вас тут!

— Какой ты нежный! Привыкнешь еще.

— А что это тут?

— Та здесь мы стукаем. В исполнение приводим. Трупы убирают, а мозги, видишь, разлетаются по стенам и гниют.

И учиться хотелось деду, а то он был как Ломоносов: к 20 годам образование три класса. Сбылось и это: ему удалось попасть в школу младших командиров ВЧК, учить пулеметное дело, которое в те времена лежало вполне в сфере высоких технологий. Максим, конечно, а также Кольт, Льюис и даже такая экзотическая модель, как Шварц-Лозе. Учебных пособий, то бишь пулеметов, хватало, с остальным были проблемы. Жратва скудная, быт бедный, вместо одеял свои же шинели. В холода курсанты топили у себя в бывших казачьих казармах печку-голландку. Дров не вы-

давали, но от разобранных заборов и наломанных на кладбище крестов был хороший жар.

Учеба длилась полгода, а после в школе устроили выпускной вечер. Начинающим командирам выдали аттестаты и ценные подарки, кому что; деду достался серебряный портсигар. Потом торжественный ужин. Все знали, что у командира стрелкового взвода жинка гнала самогон, он и принес четверть, как ожидалось. И командир школы — тоже четверть, но только у него самогон был не простой, а настоящий на меду. Тут соблюли субординацию. А начальник штаба так вообще отличился: пришел с бутылкой фабричного денатурата, и по форсу это был уровень вполне себе *Château Margaux*.

За ужином завязалась беседа. Дед принялся расспрашивать комиссара, его фамилия была Марченко, — о причинах, заставивших того однажды ночью устроить у себя в комнате стрельбу. Дед как раз дежурил, а тут пальба. По тем временам она могла означать что угодно — кроме салюта. Дед схватил пистолет и бегом на выстрелы. Влетает в комнату, а там комиссар. Сидит голый на кровати, в руке пустой наган дымится, а сам тупо в стену смотрит и ничего не слышит. Дед забрал ствол и уложил стрелка досыпать. И вот теперь комиссар по пьянке все объяснил своему бывшему ученику, уже ж не было между ними иерархической пропасти:

— А... Это было вот почему. Я служил в губчека раньше, так мне там пришлось расстрелять 518 человек. И ночью вот эти дела на меня находят... Я стал не способен к той службе. Вот меня и перевели в школу. Теперь вот комиссаром... На этой должности стучать не надо, так что справляюсь.

Дед так понял, что потерялся человек и ему помогли, дали работу полегче. Главное — вовремя человеку помочь, успеть! А вот с начальником губчека Журбой такой номер не прошел. Он тоже так иногда стучал, но все больше чужих. А потом в ЧК попал его брат — моряк, из эсеров. Его быстро приговорили. Журба зашел к нему: «Ну, братец,

не послушал меня? Пойдем теперь...» Пришли в подвал, понятно зачем. Какая-то нужда заставила чекиста лично повести на расстрел своего брата, хотя можно ж было это свалить на кого-то. А в подвале на полу там откуда-то взялась пустая бутылка [легко допустить, что на трезвую голову расстреливать тяжело. — И. С.] Так моряк ее схватил — и как шарахнет брата! Выбил глаз. Но и с выбитым глазом чекист все равно брата расстрелял, вот ведь выдержка и целеустремленность! Расстрелял — и служил дальше, вроде все шло хорошо. Но развязка таки наступила, а как хотите — родных братьев безнаказанно расстреливать? С того дня прошел месяц, и тут Журба сел на мотоцикл, разогнался — и на полной скорости кинулся на проволочное ограждение; особый отдел был обнесен колючей проволокой. Думали, что, может, это случайность. Нет, — оказалось, чекист лишился рассудка. Ну что ж, сняли человека с должности и отправили на лечение.

Но не все были такие чувствительные. Некоторые убивали легко и без видимых последствий. В числе знакомых моего деда был некто Лазаренко, командир эскадрона. Взятых в плен бандитов он любил казнить собственноручно. Сперва, конечно, трибунал, все как положено, а потом приговоренных, связанных, отдавали Лазаренке. Он зажимал смертника коленями и откручивал ему голову, как курице. Командира этого считали не маньяком — а так, просто *обозленным человеком*: все знали, что бандиты убили его отца и мать. А с Лазаренкой ездила жена, верхом. Она сама, правда, не убивала.

Про свой личный *experience* в этой сфере дед помалкивал, и слава Богу. Он только теоретизировал абстрактно: «Убить человека — это только кажется, что легко... Если одного убить — и то он снится. Даже если немцев, из пулемета, с большого расстояния — все равно это откладывается. И держится в голове, накапливается...»

А вторая тема, на которую он молчал, была такая: его любовные похождения. И это тоже было вполне педагогично.

В губчека дед не задержался. Его отправили служить дальше — в 55-й полк ЧОН, у которого было много дел: кругом же так называемые банды. Самыми известными атаманами были тогда Тютюнник, Коцура, Куровской, Зеленый, Христовой, Ангел, Штепа и — Маруся.

Дед простодушно рассказывал в советские еще времена про то, что комиссаров, особенно тех, что занимались продразверсткой, крестьяне не очень любили. И при случае разрезали продотрядовцам животы и засыпали туда зерна, еще живым — это была весьма мучительная казнь. Впрочем, иногда вспоротых комиссаров жалели и из гуманных побуждений отрезали им головы пилой. А махновцев, признавался дед, простая публика любила: те вели симпатичную социальную политику, то есть не забывали поделиться награбленным. Красные, когда возвращались, не могли придумать ничего умней, как эту махновскую гуманитарную помощь отнимать. Так что в трудные времена махновцы, подобно моджахедам, ваххабитам и прочим партизанам, прятали оружие и прикидывались местными, — при живейшей помощи последних.

В полку дед сперва командовал пулеметным взводом. Но он, видно, не показал настоящего чекистского азарта, тяги к классовым разборкам, к живой работе с людьми. И перевелся в фельдкорпус, а оттуда в инструкторы пулеметного дела. В 24-м он ушел на дембель, получив на прощание полный комплект обмундирования и миллион рублей наличными. Дед подался в Донбасс, передовой промышленный район с богатыми перспективами и шансами показать себя, и нанялся там на шахту с нежным названием «Амур». И больше уже в ЧК не возвращался.

Много лет спустя я вынудил деда написать мемуары. Я долго ему объяснял, что может представить интерес для вечности, и он заполнил четыре тетрадки кривыми записями шариковой ручкой. Там было много про первые заграничные съезды большевиков, про Ленина и задачи наркоматов, про заметки в «Правде». И совсем ничего про баб и реальные приключения. Но, в общем, чего-то мож-

но было из этих тетрадок нахватать, чтоб почувать сильно подвыветрившийся запах тех времен. Попадались в тексте крепкие куски:

«Вскоре я женился, и в 1926 году у меня родился сын Володька. Первая моя жена умерла в 1928 году после родов. Новорожденная девочка тоже умерла через несколько дней. В то время в городе не было ни роддома, ни детских кухонь, и роды принимали в большинстве случаев безграмотные темные бабки без соблюдения гигиенических правил. Мне пришлось жениться во второй раз. Сыну, Володе, было в то время два года. Марию, вторую жену, я знал с 1924 года, когда она была еще девушкой и работала на шахте «Амур» откатчицей на поверхности, потом в киоске по выписке газет для рабочих, а в последнее время — телефонисткой в конторе шахты. Вышла она замуж, но первый муж оказался пьяница, обижал ее, что и привело к разводу, хотя на вид он был интересный мужчина. Сошлись мы с ней по любви и с согласия родных в 1928 году и живем по настоящее время, — это все он писал в 80-каком-то году. — Мария была статная и смелая женщина. Ее родные и вся семья — три сестры и брат Денис — хорошие люди, как труженики и по отношению к людям. Отец жены Елисей Евстафьевич и брат Денис работали со мной десятниками на одном участке шахты «Амур».

В 20-каком-то году он вступил в партию, снова поучился на курсах и пошел потихоньку в гору. Вот он мастер, а там и десятник, дальше участок принял. И все это не просто так, но «приказом по рудоуправлению». Дед зафиксировал, что в какой-то момент на одной из этих ступенек оклад ему подняли с 81 рубля до 110.

В общем, кадр перспективный. В 38-м деда и его парторга вызвали в обком аж к секретарю и дали партийное поручение: идти работать в ГПУ. Прельщали важностью момента, ответственностью поручения и персональной бричкой с кучером. Секретарь шахтной партячейки сразу

согласился, а дед, видно, соображал, откуда это в органах кадровый голод, такой, что из-под земли достают себе работников. Он врал и изворачивался, напирал на семейные обстоятельства, четверо ж детей, квартиры нет, после того как его на другую шахту перевели. И от него отстали! Он спрятался от чекистов глубоко под землей и рубил там уголь обушком, весь в черной пыли. После кровавых подвалов Харьковской губчека это был просто курорт. А секретарей обоих очень скоро, и который звал, и кого звали, — «стукнули», чему дед не удивился. Впрочем, в мемуарах он касался темы весьма деликатно, — наверное, долго думал, как бы это все сформулировать:

«В период культа личности проводилась перестановка руководящих работников. Некоторые из них были репрессированы. Бывший управляющий трестом Ревин был назначен начальником ОКРа комбината, а вместо него назначен Полстяной. Впоследствии оба они были арестованы и судимы как враги народа. Ревин умер в заключении, а Полстяной расстрелян. Главный инженер треста Бирман и его жена осуждены на 19 лет. Бирман умер в заключении, но был реабилитирован посмертно. Жена его также реабилитирована, она приезжала оформить документы и получила квартиру на шахте № 1. Начальник ОКРа Анищенко осужден на 20 лет, реабилитирован и явился в трест, получил трехмесячный оклад по прежней должности и уехал к семье».

Про зверства, про кровавый режим — ни слова. Дед остался все на той же стороне баррикад и рассказывал, зпрочеи, не очень убедительно, что «в то время имелись случаи вредительства». На одной шахте злодеи перерубили подъемные канаты, на другой ломиком замкнули фазы трансформатора, и тот сторел, причеи на майские праздники! За трансформатор посадили механика Осипова, как он враг народа. Это все казалось деду ясным и справедливым и укрепляло его в мысли, что жизнь идет правильно. Тем

более что с шахтного поселка, затерянного в тоскливой степи, он переместился в центр очень серьезного яркого города — Харькова. Ему снова удалось попасть на учебу, на этот раз аж в Промакадемию.

Это был уровень ого-го!

«Общежития были хорошо оборудованы, в большинстве комнат были радиоприемники, в то время это была новость. При общежитии была столовая закрытого типа, хорошее питание, и недорого. В общежитии имелась ванная комната, в ней две ванны и два циркуляционных душа. Стипендия на первых курсах 650 рублей, на последних двух — 750. Мне как многосемейному с самого начала занятий ежемесячно доплачивали с предприятия 200 рублей. Учеба мне давалась хорошо, только трудновато бывало на первом курсе, пока проходила перестройка мозга. А потом на третьем курсе спецдисциплины и расчеты мне давались легко. Но пришлось закончить учебу в связи с тем, что всем было понятно: надвигались грозные события».

Короче, в конце 40-го года Промакадемию закрыли, и деда отослали обратно на шахту.

«Было очень обидно, что пришлось прервать учебу не получив специальность, и не осуществилась мое желание и мечта. Я отправил письмо в ЦК, описал всю свою обиду и переживание и то, что неправильно с нами поступили. В феврале 1941 года я получил с ЦК за подписью члена ЦК Андреева А. А. письмо о том, что я зачислен студентом Всесоюзной школы техников, организованной на базе Московской промакадемии и должен немедленно выехать в Москву на продолжение учебы. ВШТ помещалась на площади Борьбы... Зачислен был на последний семестр последнего — второго — курса... В нашей группе учился Стаханов. Тов. Стаханова уважали и любили за его простоту, доброту и чуткое отношение к товарищам. Но он неоднократно нарушал порядок и иногда по два дня не являлся на занятия.

С Донбасса приезжали руководящие товарищи по производственным делам, и тов. Стаханов оказывал им помощь, он же пользовался большим авторитетом. Ну и эти дела не обходились без могоарыча, за это неоднократно обсуждался т. Стаханов в группе и на бюро горного факультета. Но он признавал свои ошибки и занимался хорошо, а чтобы догнать упущенное, к нему прикрепляли преподавателя и проводили с ним занятия».

ДЕДЬ (ВОЙНА)

Когда началась война, дед слышал, как Сталину наливали воду из графина — когда тот выступал по радио. А еще дед видел на Красной площади елки, торчащие из ящиков с песком, покрашенные защитной краской кремлевские рубиновые звезды, прикрытый фанерой Мавзолей и Москва-реку, от берега до берега затянутую камуфляжем, и на площади Свердлова — куски сбитого немецкого самолета.

Война войной, а учеба шла по плану. С той поправкой, что по ночам студенты тушили зажигательные бомбы. Это было несложно: бомбу надо только засыпать песком или залить водой.

В первые военные месяцы деда то забирали в армию, даже выдавали обмундирование и назначали на должность, однажды даже командиром роты, — то отправляли обратно учиться, доучиваться. Наконец в декабре он получил диплом горного техника, после чего студенты поехали торжественно жечь архивы «Наркомуталя». Бумаги выкидывали из окон, во дворе разжигались костры, и недогоревшие приказы летали вокруг хлопьями, что было слегка похоже на метель из грязного снега, — приблизительно так нам теперь описывают ядерную зиму.

Пока суть да дело, в Москве перестали ходить автобусы, их позагоняли в укрытия. Закрылись пекарни, и хлеб пропал, его ни в магазинах не было, ни в столовых. Какую-то еду еще продавали, но некоторые продавцы отказывались брать за товар деньги, говорили, что все равно их некуда сдавать. Среди дня над Москвой появлялись одиночные немецкие самолеты, кружили над городом и даже обстреливали улицы из пулеметов. Радиопередачи трудно было слушать, — их заглушали немцы, которые передавали свои новости на русском: спецпропаганда называется!

А потом выпускников выселили из общежития. Дед с парой товарищей поехал на Курский, все поезда были переполнены, и чудом удалось втиснуться в электричку. После они пересели на эшелон, который вез подбитые танки на ремонт в тыл. На какой-то станции увидели через окно своего однокурсника Стаханова, тот ехал в одном вагоне с самим Левитаном. Ударник дал ребятам бутылку водки, от щедрот.

Ехали до Урала долго, с месяц. По пути останавливались на каких-то станциях, копали брюкву на дорогу, отоваривали хлебные карточки, наедались впрок супа в столовых. В Кирове они, к примеру, славно ходили в баню. В Перми догнали свой эвакуированный «Наркомуголь», и тот их заслал на шахту под Челябинском, откуда дед через месяц таки сбежал в Красную армию, даром что от шахты у него была бронь.

В роте половина народу не знала грамоты. Когда надо было расписываться — да хоть на присяге, — ставили крестик и отпечаток пальца, большого, правого. Перед отправкой на фронт дивизию вывели на тактические занятия. Мороз был за 30, несколько бойцов отстали и замерзли насмерть. Комполка сказал, что это идет отсев за счет слабых, которые на фронте все равно не нужны.

Ну и поехали, кто не замерз. Когда стояли в Саранске, дед на станции купил 40 стаканов самсада, очень выгодно — по 20 руб. за стакан. Ему было приятно, что куревом он себя обеспечил до самого фронта — Ленинградского, кстати.

На фронте было голодно, продовольствие завозили неровно, дистрофия случалась даже у командиров. Иногда в деревнях разживались сухарями. Потом зацвели елки и сосны, так что ели завязавшиеся шишки. У деда от голода опухли ноги, пришлось по швам распороть галифе ниже колен.

Потом лето, комары, немецкая авиация...

Летом расстреляли первого самострела, это был татарин. Он примотал к ноге кусок еловой коры, а после привя-

зал к дереву винтовку и куском проволоки дернул спусковой крючок. Как выстрелил, так сразу винтовку и бросил, стреляная гильза осталась в патроннике. Все с ним было ясно... Сразу яму выкопали, посадили — куда ж стоять, нога прострелена — самострела на краю, пришел особист с двумя автоматчиками, каждый дал очередь из ППШ, и казненный упал в могилу, все быстро и технологично. Деду запомнилось, что самострел был в шинели, в ней его и зарыли; казалось, это глупо, шинель же пропала. Но уж так! Дед подумал, что в Гражданскую все было иначе, людей выводили на расстрел в одном исподнем, что особо подчеркивалось в революционном кинематографе. После революции с мануфактурой было тяжело, а в Отечественную снабжение было все получше, не сравнить. Ну и потом, не хотелось, наверное, и пафос снижать, речь о судьбах родины и предательстве, хрен с ней, с шинелкой...

После этого случая самострелы стали осторожней, они стреляли друг в друга, — впрочем, и это не помогало. Вместо госпиталя они все равно попадали под расстрел перед строем. Повезло только одному из тех татар: он во время перестрелки перебежал к немцам. А что, может, и спасся.

Дед еще писал:

«В обороне от скуки наши кричали немцам:

— Фриц вшивый! Ганс!

А те кричат в ответ:

— Иван, ты дурак!

Приходят ко мне бойцы:

— Товарищ командир, немец тебя ругает!

— Идите вы! — говорю. А немцы дальше кричат через рупор:

— Иван! Ты дурак!

Потом кто-то обидится, они или наши, и начинается перестрелка. Смотришь, кого-нибудь и ранили.

— А что ж вы, зачем трогаете их? Иван таки дурак...»

Иногда дед вспоминал совсем уж экзотические подробности. Как-то во время немецкого артобстрела подползает

рядовой и протягивает что-то. Оказалось — оторванную человеческую голову, которая вся была в крови:

— Вот, бойцу Остроушко голову отрезало, снарядом.

— Ну и?

— Я и принес.

Дед велел рядовому, который был в тот день сильно не в себе, под впечатлением, положить голову в воронку от снаряда, забыть про нее и заниматься дальше согласно распорядку дня. А через час на передовую привезли котел вареного мяса. Но мясо после демонстрации отрезанной головы мало кто мог есть. Дед тогда выпил кружку спирта и погрыз сухарей, вот и весь обед. Даром что старый чекист и много чего повидал — а вот ведь, пробрало.

дедь (мир)

А потом деда достало из миномета, ударило осколком в ногу, когда шли в атаку по снегу. На волокуше его притащили в землянку медсанбата, налили спирту — и на стол. Ступня раздроблена, пяточная кость расколота (позже похожее ранение получил на съемках телеведущий Парфенов, когда под ним проломился помост), обе голени переломаны. Два дня дед орал: «*лядь, *б вашу мать, вперед, за Родину, за Сталина, — за мной!» Дальше его отправили в госпиталь на Селигер. А после в Вышний Волочек, в госпиталь, и там положили в углу на носилках. И говорят:

— Вы не в этот госпиталь попали! Вас в другой надо.

— Да куда ж мне в таком виде в метель?

— Ничего не знаем.

Дед тогда достал пистолет с такой мыслью: «Если что — убью». Добрым словом и пистолетом можно добиться многого! Оставили раненого в госпитале и принялись лечить. С ногой было много мучений, она дико болела, дед умолял ему эту несчастную ногу отрезать, раз уж он все равно не боец. Но его не послушали. Может, военврачи боялись уловки, после всех тех историй с самострелами.

Вот из его записей:

«В первые дни у меня была высокая температура и слабость от большой потери крови. От пищи я отказывался, состояние было угнетенное и безразличное. Думаю — а, все равно! Ноги нет, руки тоже нет (это я так думал тогда), — зачем мне жить? Об этом медсестра доложила главврачу госпиталя. Он подошел ко мне как-то и спросил, почему я ничего не ем. Стал меня убеждать, что для скорейшего выздоровления нужно питаться. Я категорически отказался:

— Зачем и для чего я нужен в таком состоянии? Оставьте меня в покое!

Главврач — участник финской войны, и на груди у него был орден Красной звезды. Когда я увидел орден, мне стало просто стыдно, что такой заслуженный человек уделяет мне столько внимания.

Он вторично подошел ко мне и спросил:

— Что бы Вы ели? У нас для раненых все есть.

Я сказал, что хочу свежее яблоко красное и меду. Откуда, думаю, они возьмут... Красное яблоко на фронте! Врач ушел, я подумал, что он оставит меня в покое. Однако через несколько минут он подошел снова с медсестрой, которая несла на тарелке два красивых свежих яблока, мед и две банки — тех, что на спину лепят, — красного вина. Уговаривать не стал, а приказал:

— Выпить вино и съесть то, что просили! Я приказываю! Выпил он вино — и я выпил. И съел яблоко. Медсестре он приказал, чтоб перед едой давали мне по стопке вина или водки.

И вот как утро, надо завтракать — кормили хорошо — стопочку приносят, выпил — хорошо.

А как-то консервированной крови моей группы не оказалось, тогда вызвали донора — молодую девушку-комсомолку, и она согласилась дать мне свою кровь. Я отказывался: зачем ее мучить? Но она категорически настаивала, и мне пришлось согласиться. Она оставила мне свой адрес, но он затерялся потом в переездах, а вспомнить не смог. И не смог еще раз поблагодарить ее письменно за благородный поступок. Это написал, чтобы знали, какое чуткое внимание было к раненым».

Рана была тяжелая, сложная, его долго мотало по госпиталям, от Селигера до Горького через Подмосковье и Москву, — с декабря 42-го по осень 44-го. Наконец он выписался и поехал — не домой, хотя немцев из города уже выбили — а на Урал. Дед что-то объяснял про документы, про то, что его оттуда призвали, значит, надо и вернуться, хоть заехать... Но после до самой смерти бабка ему при случае, когда они орали и ругались, высказывала:

— А, не нравится? Так никто не держит! Езжай к своей уралочке!

Больше никакой информации про амуры деда до потомства не дошло.

Короче, отправился он на Урал. И там заехал в село Чебаркуль, где жила семья пулеметчика из его взвода. У деда пытались выспросить, как там сейчас их Кирюшка, но дед его уж года два не видел, с того последнего боя. Сын Кирюшки, подросток, поехал провожать деда на станцию. И там, когда они сидели вдвоем в ожидании поезда, мальчишка горько заплакал.

Ему было очень обидно, что отец сражается на фронте с фашистами, а мать спуталась с шофером, который у них живет на квартире, спит с ним. Пацан хотел про это написать отцу, да бабка запретила: жив останется, придет, пусть сам разбирается. Дед подумал тогда: «Такое дело приходит на баб иногда». А мальчишке сказал:

— Да, верно, не пиши, это правильно бабка сказала. Это тяжело ему будет. Что ж он может сделать? Ничего ж не сделает... А напишешь, настроение какое у человека будет?

Дед посмотрел на эти детские страдания — и в тот самый момент, может, решил вернуться на Украину, к семье. Легко себе представить, что тогда он подумал про своих четверых детей. Как они там жили без него? Чего боялись? Над чем жалобно плакали?

И вот он поездами, на перекладных, с костылями и пересадками, долго-долго ехал и проехал полстраны, и вернулся в родной город. Который стоял почти совсем пустой. По пути дед остановился в парикмахерской, где его умыли и побрили, — чтоб предстать перед своими в приличном виде.

Он вошел в домишко... Тощие его дети, бритые наголо, вши же, сверкали голодными глазами, они были полуголые — из вещей почти ничего не осталось: что можно было, все пошло на менку, на харчи. И в доме была холодина, топить нечем. В углу на кровати больная жена... Она по тако-

му случаю встала. Дед привез с собой две пачки пшеничного концентрата, из них сварили похлебку, и дед перепутался, когда увидел, как его дети кинулись на эту кашу. Все это было моментально съедено. Он тогда подумал: «Ребята голодные как собаки». Может, и Урал вспомнил, на котором чуть не остался...

Еще оставались деньги на полевой книжке, и на следующий день он с дочкой Раей, моей будущей теткой, пошел на базар. Буханка хлеба стоила 140 рублей, кило сала — 300. Деду запомнилась милиция, которая всех ловила: и кто покупает, и кто продает. Купили еды, Рая несла покупки домой, а дед тащился за ней на костылях... Вечером он выдал детям хлеба по куску, сала, покрошил цибули. И спать, тогда как попало спали, кто под кроватью, кто где.

Бабка на ночь рассказала ему ужасное: она побывала в гестапо, думала, что все, конец. И дети без нее пропадут. Забрали ее из дома, после того провели обыск. Искали немцы краденое. Старший сын, Володька, воровал с товарищами с немецких складов сигареты, тушенку, шоколад и прочее. Потом товар продавал на базаре знакомый фарцовщик. Немцы его взяли, он испугался, водил их по городу и показывал, где кто живет из этой компании. Володька успел сбежать из города в какую-то деревню под Мелитополем и там жил до ухода немцев.

В гестапо (что там с ней бедной делали?) несчастная сказала, что Володька ей не родной сын, он от первого дедовского брака. Это подтвердилось, ее выпустили. Беглец объявился дома в сентябре 43-го, когда выгнали немцев, и добровольцем ушел на фронт, попал в артиллерию. Вернулся из армии поздно, в 51-м, с орденами. И до самой материной смерти — мачехой он ее не считал — попрекал, что она от него отказалась. Она каждый раз принималась объяснять, что иначе было не спастись, дети б пропали без нее, и он выслушивал ее ответ молча.

Дня через три дед поехал с женой и свояченицей Настей в Днепропетровскую область, в село недалеко от станции Пятихатки — выменять продуктов. Собрали все, что име-

лось еще из пожитков, и еще отрез ткани начальник ОРСа дал фронтовику. Еды за это дали так мало, что пришлось отдать еще и бритву; деду было досадно, что он бритву променял, что бриться нечем. А потом он еще гимнастерку снял с себя и белье, остался в бушлате теплом на голое тело.

Они остановились у одной молодой хозяйки. Женщины помогали хозяйке копать огород, а дед сидел в хате и чистил кукурузу, выдирал зерна из кочанов. За этот труд они получили сколько-то картошки, кукурузы и пшеницы. С этим багажом, что наменяли и заработали, на коровах доехали до станции, а там удалось залезть в товарный вагон, им повезло — как раз эшелон порожняка следовал в Донецк. На первый случай семья была обеспечена питанием. Из привезенного зерна они пекли хлеб. Такая терка была, железная, и на ней перемалывали пшеницу два раза, пекли хлеб и несли на базар. Хлеб был нарасхват.

А потом, когда после немцев жизнь наладилась, им дали хлебные карточки. И зажили они...

Тогда начали восстанавливать шахты. Было много пленных немцев, они почему-то очень переживали за дело, работали старательно и дисциплину понимали. Если кто ленился, вспоминал дед с мистическим почти ужасом, удивляясь иностранному менталитету, так старший, из немцев, сразу давал лентяю в морду. Переводчица Лиза пыталась ему объяснить, что у нас не положено так с рабочими обходиться. Это не помогало.

А был случай, забурилась вагонетка, и туда послали двоих — нашего и немца, сгрузить породу, чтоб вагонетку обратно поставить. Немец просит нашего: «Помоги, подать надо вбок». Тот отвечает: «Зараза, сам ставь!» Тогда немец подходит, да нашему ка-а-к врежет раз. Тот пошел пожаловался начальнику шахты. И начальник недоволен: «Что такое, почему нашего немец бьет?» Вызвали немца. Тот объясняет:

— Он не хочет работать, вот я его и ударил.

И подходит, разворачивается, замахивается, — хотел наглядно показать, как бил.

— Не надо, не надо!

Начальник говорит нашему:

— Тебя, скотину, надо не раз было стукнуть, а десять раз! Животное! Почему не помог? Породу надо убрать скорей, шахту надо восстановить!

— Вот такой молодец оказался немец, — вспоминал дед еще много лет после войны.

В 68-м он ушел на пенсию, и это был, по его признанию, самый несчастный день в его жизни.

Умер он в 91-м, как раз когда Союз развалился. Месяца за три до смерти он говорил с печалью:

— Что ж, оказалось, мы хуже всех живем? Я всю свою жизнь, все мозги отдал партии, делал, как ей надо, столько людей убил этими руками, — он смотрел слезящимися глазами на свои пересохшие старческие ладони, — и что ж теперь, все зря?

Бабка на похоронах сокрушалась, что он не умер годом раньше, тогда б его похоронили с почестями, ордена б несли на подушке. Но уж так получилось.

Он пережил эпоху, его время кончилось, он стал частным лицом, как все. Его локомотив истории, на котором он мчался, типа «в коммуне остановка», — как карета Золушки превратился в тыкву.

Все прошло, как ничего и не было. Он увидел всю свою жизнь одним махом, начало, середину и конец, весь ее смысл и всю пустоту. Все, что он строил надрывом всех жил и убийством целых толп людей, развалилось и пропало. Жил он, не жил — как объяснить разницу?

Да и — кому?

Фарца

Мой старший дядя, Владимир Иванович, в свое время был самым знаменитым фарцовщиком шахтерского города Макеевка. Правда, джинсами и *Marlboro* ему не довелось поторговать, ему выпала другая масть: в 1942 году он с дружками воровал с немецких складов тушенку, шоколад, сигареты *Junio* и шнапс, и неплохо на этом зарабатывал. Парень содержал семью — мать, двух братьев и сестру — и еще на развлечения оставалось. Из добычи особенно хорош был шоколад, далеко не все в те годы знали, что это за фрукт такой. Иные его попробовали только благодаря патриотической инициативе моего дяди.

Жизнь, короче, вполне удавалась. Но как-то при облеве на базаре немцы взяли одного хлопца из Володькиной команды с поличным во время осуществления незаконной бартерной сделки: он менял казенное имущество Вермахта на хлеб! Куча статей. Пойманного связали и повезли на машине по городу, он должен был показать, где живут сообщники, ну и показал, хотя теоретически мог бы пожертвовать собой заради братьвы.

Группа захвата приехала в наш старый фамильный дом на Капитальной, но Володьку дома не застали. Он был уже в курсе и спрятался у соседей через две улицы, — так что вместо него забрали бабку Марью, его мать. Дело шилое серьезное: ее муж, который после пришелся мне дедом, был партийный и в то время героически воевал и пух от голода под Питером. А пацаны усугубили свою вину тем, что по дурости вышли за рамки обычного ларькового ассортимента и унесли со склада винтовку, — а это, сами понимаете, уже другая статья. Хрен с ним, с шоколадом, но оружие задержанная не могла сдать правоохранительным органам, она ж не знала, что пацаны замотали

ствол в тряпки и спрятали в подвале школы, в углу, под кучей золы.

- Плохи твои дела, старая ведьма, — сказал переводчик. — Чувствую, шлепнут тебя. Ну так сама виновата. Бабка все поняла и сделала последнюю попытку, после всех рыданий, вырывания волос и причитаний она хлопнула себя по лбу, вспомнила самое главное — воскликнула:
- Та він же не мій син! Це ж не мій син!
- Що ти брешеш!
- Тю, коли це я брехала? Нехай он люди скажуть.

Привели людей, то бишь соседей, те стали сотрудничать с фашистами и охотно дали показания: Марьин Иван точно воюет в Красной армии, но он зато не жид, не москаль и не комиссар, а рядовой, даром что партийный. А Володька — сын Ивана от первой жены, давно покойной, да не сам ли он ее, кстати, и грохнул? Парень горячий, ему под руку лучше не попадаться...

Короче получился красивый такой *happy end*: кровавые немецко-фашистские захватчики выпустили многодетную мать под подписку, Володька сбежал в Мелитополь, немцев из Макеевки выгнали, дед вернулся из госпиталя, пусть инвалид, главное живой. И Володька тоже вернулся из бегов целый и невредимый. Его уже обыскались военкоматовские, думали, косит от армии — но быстро разобрались и вместо лагеря отправили парня в учебку. И это было счастьем: кого призвали сразу после освобождения города, тех кинули в ополчение, на передовую, и скоро все эти «серые пиджаки», как их называли, поименно были упомянуты в похоронках. Володька отправлялся в армию в состоянии некоторой депрессии. Когда соседи стали ему рассказывать подробности про арест мачехи, он удивился: какой такой мачехи? А ты что, большой мальчик и не знал? Он пошел к Марье, та призналась, винулась, что как-то все недосуг было рассказать, тем более что история с гибелью родной матери была не очень ясная...

Он даже плакал и попрекал мать... Володька так и продолжил ее называть, и все так же на «вы», как у них было

заведено, и после слал ей треугольниками максимально теплые письма, которые только мог сочинить. Но до самой смерти попрекал ее, непонятно в шутку ли, тем, что она от него оказалась:

— Я ж не твй син, — и дальше продолжал по-русски:

— Ты, получилось, меня предала.

— А что мне оставалось делать? У меня ж было еще трое детей. А если б меня расстреляли? Что б с ним было?

А так, он глянь, я просто спасла Колю (это, кстати, мой отец) и Леню, и Раю...

По-русски она говорила, только когда что-то было не так, ну казенные какие-то беседы, с чужими; а когда свои, то зачем же по-русски с ними? Зачем людей обижать? (С переводчиком в гестапо она заговорила под конец по-украински просто от нервов, забывшись и потеряв над собой контроль, как радистка Кэт.) Разговоры с Володькой про то, что она от него отказалась, были как бы продолжением дачи показаний, шла вроде та же тема отношений с правоохранительными органами, которые все — фашистские, коммунистические или белогвардейские — были, что так, что этак, репрессивными. Белых она тоже замечательно помнила, на ее девичьих глазах казаки пороли нагайками так называемых *красножопых*, аж шкура слезала со спин и с этих самых жоп. А насчет НКВД она иногда подумывала, что вряд ли б ее отпустили так легко за детскую кражу шоколада, — не говоря уж про винтовку.

Кстати, история с фарцой немцам пошла на пользу, они сделали выводы, приняли меры, подтянули дисциплинку. Часовые после того случая уж не бросали склад на произвол судьбы, а то, бывало, пили чай в караулке по пятнадцати минут кряду. Улучшилось и снабжение бойцов Вермахта бахчевыми культурами: то все военные арбузы разворывались, а как поставили по краям поля виселицы — неважно, что пустые, — воровство прекратилось. А то немцы поначалу расслабились как-то...

Воевал Володька в артиллерии. Что у них там было и как, Бог весть. Остались какие-то его письма того времени, но чего там тогда можно было написать? Так, только изредка попадались бессмертные строки:

«...Мама, ты пишешь, Леня спрашивает, с какой я пушки стреляю, пушка моя не очень завидная, противотанковое орудие 57 мм. Папа должен знать, что это за орудие, вчерашний день отбивали контратаку пехоты противника. Мама, час победы близок, так что в скором времени ждите нас победителями домой. Иду на выполнение боевого задания».

Леня — это самый меньший брат, про которого уже была речь.

Или так:

«...я дал клятву, что в 1945 г. буду бить фрицев еще крепче. Сейчас пока стоим в обороне, открыт счет мести фрицам. 2/1—45 г. я убил одного фрица и сегодня одного, в общем на моем счету уже есть два гада, 1945 год только начался.

Мама, сегодня получил письмо из Мелитополя от своей любимой Надички, она пишет, что написала тебе письмо, но ответа от вас еще не получила. Мама, если получила письмо, то прошу, дай не плохой ответ вообще имейте с моей дорогушей переписку. Очень хорошая девушка, это учти не та которая есть на фото, то была временная жена которая кормила меня в тяжелое для меня время. А Надежда Шматко учится в гор. Мелитополе на курсах инженеров-механиков, и она меня несколько раз выручала из крутого положения в то время.

Привет всем родным и знакомым. Примите привет от моих друзей. Письмо писал в 2 ч ночи. С тем до свиданья. Ваш сын Вовка. Жду ответа».

Это было новогоднее поздравление, 1944—1945...

А вот апрель 45-го:

«Привет из Курляндии.

Здравствуйте, дорогие родители. Шлю вам свой горячий боевой привет и крепко жму ваши руки.

...я хочу написать вам немного об жизни латышей, которые живут в этой местности. Живут они очень хорошо, имеют свои имения, по несколько штук коров, лошадей, овец десятка по два а то и больше свиней по десятку в общем всего много.

И вот во время когда штурмуем эти имения, бывают случаи, что даже хозяева этих имений стреляют с пулеметов по нам. Но уж когда овладеваем хуторами, тогда у нас всего вдоволь, и выпивка и закуска, все есть. Правда, фрицы жестоко обороняются, но все же все их старания удержать наши войска не под силу, хотя на нашем фронте продвижение маленькое, но пленных и трофеев очень много».

Самое замечательное в этом правдивом простодушном письме — это штамп:

«Просмотрено военной цензурой 08981».

Вот уж точно просмотрено, во всех смыслах...

Действительно, что ж бойцам, уже не выпить и не закусить? Тем более что Володькин командир допускал факты вопиющей дедовщины: забирал у молодых бойцов наркомовские и все выпивал лично... (Это уже из поздних устных рассказов.)

А там и война кончилась, — но молодежь долго еще дослуживала. Письма шли уже не с войны, а из тыловой части, которая жила вполне себе беззаботной жизнью:

«...погода неблагоприятная, целый день идет дождь, вообще уже последние дни августа месяца пошли дожди, ночи стали холодные, раздетый не пойдешь к латышке».

С войны и от латышек Володька пришел сержантом и орденосцем.

— А за что у тебя орден Славы 3 степени? — спрашивали его, ожидая пафосных рассказов про подвиги и героизм.

— Да так... Наш взвод отстал от полка, а тут немцы, ну мы и стали отстреливаться, у нас была пушка. Хватились взвода, когда вспомнили, что у нас полковое знамя. Послали за нами роту, та отбила нас. Всем дали по ордену, ну и мне тоже... Так получилось.

Еще у него был орден Красного знамени, связь которого с фактами героизма он тоже отрицал. И медаль «За оборону Ленинграда», про которую он после говорил детям:

— В любой ленинградский вуз устрой, я как участник обороны города имею льготы!

В Латвии тоже полно вузов, но их он сыновьям не рекомендовал...

Уйдя на дембель, Володька быстро женился — но не на одной из своих подруг, каким писал из армии, а на серьезной девушке Тане из планового отдела шахты «Капитальная». Она, несмотря на всеобщую нищету, очень тщательно подбирала гардероб и как-то так его дизайнировала, что выглядела просто дамой, к тому ж она медленно поворачивала голову, когда ее окликали, и смолоду требовала, чтоб к ней обращались по имени-отчеству.

Володька — тогда непьющий, и ТВ еще не было — завел себе хобби: голубей. Он их целовал, кидал вверх камнем, гонял с шестом, менял на базаре — короче, любил. Полет, свобода, — наверное, дело было в этом, простейшие символы. Молодая жена, само собой, осуждала это детство и пыталась загнать своего геройского мужа в вечерний институт. Он отшучивался, но голуби ж, и правда, веселей.

Однажды Володька вернулся с работы, а голубей нет. Ни одного. Что такое? Оказалось, пришел парень, говорит, к вам мой голубь вроде залетел, а нельзя ли посмотреть. Да чего тут смотреть, забирай их хоть всех, сказала Татьяна. Он унес с собой два мешка птиц. Ей было смешно смотреть, как они ворковали и трепыхались связанные.

Он был вне себя, и странно, что не убил ее. Может, именно с того вечера жизнь их начала разлаживаться, он

полюбил выпивать и завел вполне взрослое, не детское уже хобби: девок.

— Что тебе опять не нравится? Да тебе просто не угодишь, — говорил он полу в шутку, прикидываясь удивленным.

Но жена таки вынудила его пойти учиться — правда, всего лишь в техникум. Конспекты и курсовые пришлось за него писать самой, «тебе надо, ты и занимайся». Диплом, тем не менее, выписали на него...

Без высшего образования он смог дослужиться только до начальника профкома, что, впрочем, тоже неплохо. Вместо того чтобы слепнуть в мрачных угольных подземельях и забивать легкие убийственной пылью, он проводил время на свежем воздухе: дружил с подшефным колхозом, отправлял детей в лагеря (пионерские), командовал похоронами убитых на производстве шахтеров, — и еще ж распределял квартиры! Одну из которых превратил в базу отдыха, где руководство дружило с девушками и все у них получалось здорово, — а раньше нелегальная любовь протекала исключительно в лесопосадках! Какой прогресс...

Что касается личной жизни, то Володьку на шахте называли «дважды герой». Потому что одна его постоянная подружка — после развода с Татьяной, которой он не простил голубей, а она ему — *лядей, — была дочка героя Советского Союза, а у второй — у Людки — папаша был герой Соцтруда. Стало быть, девушки из хороших семей засматривались на него. Старший сын подкалывал старика-отца, беспримерного ходока:

— А мне как, Люду мамой называть?

Мальчик был ее всего на четыре года младше...

Ирония судьбы: человек любил поорать про ненависть и презрение к спекулянтам, хвалил работяг, но как-то получалось, что жил он весело и красиво, и всегда был при делах, там, где делят что-нибудь радостное. А убытки его страшно раздражали. Он не мог забыть про обиду, кото-

рую фронтовикам нанесли в оттепель: перестали доплачивать за ордена, а деньги это были серьезные.

— Я орденами, значит, гордился, а теперь это что ж — просто значки? — вопрошал он.

Была, была в нем коммерческая жилка, но он в этом боялся даже себе признаться; ну а что, такое было время и такое воспитание. Но вот эту сметку он своему потомству передал, сам того вроде не желая — но хромосомы ж не спрашивают, как им быть.

Младший сын в 90-е внезапно прыгнул из инженеров в бизнес, торговал металлом, в долю попросились бандиты, слово за слово, ну и пуля в голову, широко пожить не успел, все нажитое вкладывал в пропащее, как оказалось, дело. Старший сын кончил мореходку, думал — «навезу колониальных товаров и буду гулять!» Так оно и получалось, долго, потом «профессия моряка стала не престижной, а даже позорной», но это уже другая история. Это сыновья; а у внука — МВА, он с головой ушел в инвестиционный банк, растет, катается на лыжах, улучшает жилищные условия, все ж таки гены у парня сильные...

Володька умер в 66 лет, в 1993-м, а про то, что скоро помрет, знал заранее, он был в курсе, отчего высох и как будто стал меньше ростом: рак. По Макеевке всегда ходили разговоры про то, что от терриконов фонит и все, что вытасчено из-под земли, из глубины, — то хуже Чернобыля. А дальше как кому повезет: на одних не действует, у других внутренности гниют, а у третьих стоит так, что аж человеку самому страшно. Дядя, кстати, до самых последних недель дружил с девчонками, которые по старой памяти, помня его профсоюзную борьбу за права трудящихся и широкие банкеты в шахтной столовой, давали старику из уважения.

Дай Бог всякому такого послесловия — да к тому ж ко вполне продолжительной, полезной для страны и, несмотря на это, веселой жизни.

«артек», КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Зимой, да уже к октябрьским, Крым пуст, мрачен и хмур, и тянет на сантименты. Море холодное и практического смысла не имеет. На него только смотреть и кидать в него камни. Горы никуда не делись, но тоже не зовут и просто бескорыстно украшают пейзаж. От теплой жизни остался еще запах южных богатых деревьев с толстыми листьями, увядших цветов, кипарисовой зелени.

Нас привезли с вокзала на автобусах и выгрузили внизу у ворот. А дальше мы со своими жесткими старинными чемоданами потащились наверх, куда сказали. Там чего-то нас строили, переписывали, потом велели раздеться и забрали штатское. И выдали казенное — застиранные рубашки неопределенного цвета, светло-зеленые штаны и оливковые куртки. Шапки лыжные или, скорее, конькобежные, с острием козырька, наезжающим на переносицу. Рубашки — что ж за цвет такой был? Розоватый, грязно-розовый, диковатый и, кстати, с виду такой, из какого нашили шортов русским военнообязанным, которые везли странную гуманитарную помощь в Донбасс летом 14-го. Одежда была уже ношенная, потрепанная, и от нее в каптерке, когда раздавали, шел слабый запах жилья, чужих тел, домашних тряпок.

И уж дальше в этом обмундировании, строем, не как штатские вразнобой, — мы прошагали на обед. Еда была армейская, простая. На столах вместо салфеток рулоны из бумаги.

- Это что такое, почему салфетки так замотаны?
- Дурила, это туалетная бумага.
- Хорош врать, туалетная бумага — это газета «Правда»!
- Ха-ха-ха.

Мы присматривались друг к другу, кто есть кто, кто с замахом, а кто будет тихо сидеть. И делили — мысленно пока — девчонок. Я кого-то из них помню и сейчас. Самая экзотичная была азиатка Айгуль со смелыми глазами и темной, еще чуть — и была б мулатка, кожей. В ней не было красоты, только грация и жизненная сила. И запах пота, кстати, аппетитный, а то ведь всяко бывает. И она еле говорила по-русски. Потом выяснилось, что в учебники она смотрит, не понимая их смысла. Как она к нам попала? Поди знай. Может, папаша ее был бай и вел хлопковые дела в каком-то узбекском обкоме. А может, он был цыганский барон и поднялся на тогдашней безобидной анаше. Кто слышал в те годы про героин? Была еще пышненькая, кругленькая, социально активная, неутомонная Красная Шапочка, добродушная, но тоже, как холодное море, не зовущая, с ней можно было разве что бесконечно болтать. Прочие лица слились и стерлись, кроме, конечно, Таньки. У нее были взрослые, веселые, бесстрашные глаза, подпухшие подушечки на скулах, темные веснушки, матовая, вроде как палевая, кожа, от загара что ли, и выгоревшие волосы, она была местная, здешняя, тут светило ее солнце, все лето без перерыва, и еще захватывались куски весны и осени. Как сейчас помню ее адрес: Симферополь, улица Севастопольская, дом такой-то и даже номер квартиры. Я зачем-то бубнил его себе под нос без перерыва, как бы закрепляя ее за собой и подтверждая это по всякому поводу и даже без. Да, мы обменялись адресами, настоящими, почтовыми, бумажными — тогда так было модно; я ей, впрочем, никогда не писал. Я дал ей свой адрес, родительского дома, от которого теперь остались руины, но не живописные, как на старых картинах или в Италии, а просто куча дешевого отвратительного мусо-

ра, тупого хлама, обломков кирпичей и досок из старых диванов. Мерзость запустения, лучше и не скажешь. Кто заезжал на войну, тот много повидал таких простецких нищих руин, от которых быстро отворачиваешь глаза, как от незнакомого трупа.

Когда начались занятия, а это было в тот же день, я не сел с ней за одну парту. Но как-то развивал отношения. Мы сидели рядом в автобусе, когда ездили куда-нибудь — в Севастополь, скажем, или на базу торпедных катеров; с ответными визитом к нам заезжали оттуда морячки и раздали всем желтые якоря сантиметров пять длиной, их положено было цеплять куда-то на форму. В какой-то из первых вечеров я провел легкую ненавязчивую драку с небольшим основательным хлопчиком Витей, который мне и в целом не понравился, ну сразу, такое бывает, но еще отличился тем, что не давал «моей» Таньке пройти по коридору, загораживал ей путь и пытался склонить к беседе. Драка была быстрая, я дал ему в нос, он промахнулся мне по челюсти, я еще пару раз стукнул его, да и так уже кровища у него хлестала из ноздри. Он произнес необходимые ритуальные слова, что мы еще встретимся и тогда он мне покажет, и мы разошлись в разные стороны. Я никогда не ходил на бокс, или там борьбу, или еще что, так, на улице стукнешь кого или сам получишь в глаз, обыкновенно на ровном месте, на заднем дворе школы возле угольной кучи или на подходах к летней танцплощадке, вот и весь курс молодого бойца.

Мы потом с Витей даже и сдружились. У нас психотип был, грубо говоря, одинаковый, даже вот на предмет женского пола вкусы совпали. Мы после хлопали друг друга по плечам, улыбались по-братски, и он меня иногда спрашивал:

— Ну, и за что ты меня тогда отлупил?

Мне было стыдно.

— Ну, прости! Не понравился ты мне. Ошибся я!

Витя был с виду — людских типов мало, набор их ограничен, то и дело там и тут всплывают лица то одноклассников, то артистов, то каких-то героев — и мой дружбан был такой как бы Шукшин; вот именно этим он мне сперва не понравился — ну, тракторист или там уголовник, по его ролям да и по чертам — а мы ж тонкие интеллектуалы, читаем замороченные книжки — а потом понравился: простой, без понтов, без очечков и без шарфиков, которые в те годы в наших краях были совершенно непростительны, но — глубокий, много чего понимающий, прикидывающийся иногда дураком, короче прекрасный человек, то есть такой как мы, да.

Впрочем, если б и понравился, все равно б инстинкт толкнул меня — отогнать конкурента от «моей» самки.

Другим моим дружкой, в те времена они у меня заводились легко и быстро, стал Димка с Донецка, он там был звезда дома юных техников, чего-то мастерил на темы радио и летающих моделей, вообще сильно умный, тощий такой доходяга, понятно, очкарик и дохляк. Он был чертовски умен и этим меня притянул к себе. Не помню, из чего я это вывел, наверное, мы читали одни и те же книжки и на этой почве были как бы братья. А так-то у меня хватало знакомых, вроде и симпатичных, но туповатых, как мне казалось, поскольку они страстно любили футбол и могли целый день гонять пустой мяч туда-сюда и ссать кипятком. Ну хорошо, а наши эти драки на ровном месте, которые придуманы как бы специально для гопников, для малограмотных животных, людей без правил и без совести, для отбросов общества — они как? А так, объяснял я себе, вот Пушкин, даром что весь из себя такой поэт и тонкач, а велся на дешевые трюки и шел стреляться из реальных стволов, на самый идиотский манер подставляя свою башку под пулю калибром что твой жакан или целясь человеку в лоб. Мы себе, кстати, делали приблизительно такие же пистолеты, как Лепаж, там важно было подобрать подходящую трубку, с тыльной стороны

ее надо было заклепать или заварить, далее сбоку сделать надпил с крошечным, еле-еле, отверстием, к которому привязывались спички, ну и так далее, это уже скучные детали. Делали, да, и стреляли из них — но все же не друг в друга, как правило. Но в целом мне было понятно, что Пушкин жил, как мы, среди гопоты и как-то должен был с этим считаться и по-волчьему выть, если что. Отвечал сам, мусоров не бежал вызывать — ах, они плохие, законы нарушают, заругайте их.

И вот моего доходягу стали задирать приклатненные ребята, я за него вступился, да вот вроде дружбан и те впятером навешали мне вполне серьезно, прям сразу. Бригада их была из Брянской области, город Новозыбков. Все они были детдомовские и держались вместе, все прочие были порознь и после этой показательной меры сидели тихо, особенно тихие интеллигенты.

Ну да везде так и всегда, в стране-то. Кто-то хвастает службой в армии, где из детей вырастают мужчины (ха-ха), другие исполняют про романтику тюремных отсидок. Я пока ни там, ни там не отметился (мелкие заезды по делу не в счет), но зато ходил в детсад, а там уже матрица. Блатные порядки, кто-то альфа-самец — бьет всех, кто-то выборочно молотит кого послабей, крутые ходят в туалет с первыми красавицами, интеллектуалов бьет кто ни попадя и ссать они ходят, натурально, в одиночестве — ну неудачники. После в школе это все протекает в вялой форме, ведь приходится же на ночь расходиться по домам, генератор зла до дома не добивает, и ночной этот перерыв отпускает, дети утром приходят как новые, их надо заново бить на заднем дворе и отбирать мелочь у малышей, как в первый раз. Но летом народ разъезжается по пионерским лагерям, а там раздолье, воля, курение, драки трое на одного, подлость и предательство, трусость и равнодушие, и насрать на книжки и прочие высокие материи. Лето, солнце, пляжи, самоволки, девчонки голые в душе, через щель, пьяные вожатые, и ты один в дикой степи, с пряником, оставшимся после обеда, в слезах и со-

плях мечтаешь сделать этот мир лучше, то есть убить пяток человек из своего отряда, вот бы зажили оставшиеся! И еще я представлял, как ведут связанного начальника лагеря и все бьют его по разу по спине, это я, наверное, не сам придумал, а высмотрел в какой-то кинохронике про фашистов и освобождение.

Брянские всех держали, они завели свои порядки, если кто с кем хотел драться, те были рефери или сами решили побить ту сторону конфликта, какая им не нравилась. Лучшие из выменянных значков надо было отдавать им взамен на ерунду, которую они великодушно предлагали. Кто-то отдавал и часть денег, из дома иногда приходили переводы, треха там или пятерка. Меня данью не облагали, как-то, видно, зачлась та наша драка, я был, наверное, ими зачислен в какую-то категорию поближе к ним, тоже неформал, но без своей банды. Больше я никого защищать не лез и просто жил себе. И не лез уже в чужие дела. Но с брянскими была еще стычка, они хотели сменить свою порванную в драке куртку на мою целую, я, зная, что их много, взял с собой ножницы и дал ими по темени одному из них. Там что-то хрустнуло, я подумал, что вот щас приедут менты, ну а че, человека убил, все такое. Но даже не было крови, там под прической до самой кости была еще весьма толстая кожа, и еще, судя по леденящему хрустящему звуку, какие-то хрящи. Все обошлось, и дальше, насколько я помню, мы жили, сосуществовали мирно. Они, правда, подшучивали над «моей» Танькой, что у нее прыщи и даже угри, ну как не быть в таком нежном возрасте, но я прикрикивал на них матом добродушно, и на какое-то время они замолкали.

Мы с ней вели какие-то умные беседы, за обедом или на танцах, или в фотокружке, куда я за ней увязался. Тогда всего умняка только и было, что книги, я прочел дома оба книжных шкафа. И мог поддержать в принципе даже весьма мудреную беседу. Со скучным видом, правда. Где-то в темном коридоре я придвинулся к ней поближе и мотнул головой с целью поцелуя, но, как старый боксер,

она увернулась, и губы мои уткнулись в бесполою пустоту. Впрочем, поцелуй, если б и состоялся, был бы не более чем символическим, ритуальным, как потирание носами у отдельных северных фригидных народов. Про нее я не мог тогда сказать, а про себя понимаю, что был я вызывающе невзрослым и далеким от веселой и страшной телесной жизни. И ничего своей красавице не смог бы дать, не отважился б ни за что.

Она, небось, это почуяла, как дикий зверь — женщины же часть природы, дикой природы, они не как мы — стала меня избегать, и умные беседы иссякли. Мы с Витькой с горя выпили по этому поводу бутылку красного крымского портвейна (написал это — и страстно захотелось отхлебнуть, с жадностью), купив его в Севастополе на экскурсии. Пили на лавке с видом на памятник погибшим кораблям. Я был тоже как погибающий корабль и мужественно тонул, со скупой мужской слезой, такая была позволительна. Довольно еще долго после этого, четверть или даже две, до лета, я всерьез полагал, что жизнь моя дала трещину и сердце мое разбито так, что и не склеить.

Мы после с ним еще напились, купив бутылку у уборщицы, когда мне открыли ужасную тайну — моя Танька после ужина уходит в аллеи с главарем брянских и там они целуются засос. Страдание мое было безграничным. Я не мог придумать, для чего теперь жить, смысл не просматривался никак. Я представлял себе, как она дает затечь в свой рот мерзким, с никотиновым вонючим жидким говном, слюням этого грязного уroda, и даже их глотает, с нечеловеческой, просто-таки животной небрезгливостью, ну не выплевывает же она их в ходе поцелуя, то есть этого пиявочного всасывания, — и мне хотелось блевануть, будто я выпил подряд два граненых стакана вина с названием «Південнобузьке», его фасовали в огнетушители, то бишь в бутылки из-под шампанского. Бурда была премерзкая, вот когда я испортил печень. Зачем мне рассказали про то, как моя голубка сосетса (так в школе назывались поцелуи в засос) с ублюдком!

Лучше б я просто умер, думал я тогда. Впрочем, дружки, может, не рассказывали мне всего, щадили несчастного влюбленного, при том что сейчас можно легко *fill the blanks*, дорисовать порнографические картинки и ласки, которые в те далекие времена казались верхом разврата, а сейчас считаются легкой прелюдией, особо ни к чему не обязывающей, и, по мнению адвокатов кудрявого заокеанского красавца, к сексу отношения не имеют.

Когда мы все разъезжались — уже переодевшись в гражданку, нам ее вернули под занавес, от нее воняло нафталином, — в толпе шло такое стихийное броуновское прощание. Там не один роман завязался и трепетно протекал, ну юг же, так положено. И танцы по вечерам в полутьме располагали. Крутили какую-то околороблатную лирику, «В белом платье с пояском я запомнил образ твой». А потом еще под гитару выдавали «Ветренным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц», и вот, вспомнил, «В тихих палатках спят друзья, только вожатым спать нельзя, ну и давай станцуем вальс в ритме дождя». В общем, у всех было одно на уме. Да, одно, но не каждый осмеливался расчехлиться, страшно же. Даже кому не хотелось, те не прочь были бы завоевать популярность и похвастать ею.

Моя голубка, моя бывшая голубка, при всех тискалась с брянским бандитом, а чего терять, все разлетаются! И он при всех сделал ей королевский подарок — снял с руки часы «Победа» с кожаным ремешком и надел ей на запястье. (Откуда у него те часы? Небось, отжал у кого. Детдом-то.) Она вся в слезах смотрела на него сияющими глазами. Я запомнил это лицо, тогда оно казалось мне неповторимым, а теперь-то понятно, что таких в стране, небось, миллионы: лицо более или менее европейского типа, то есть продолговатое, вытянутое, однако ж скулы выпирают и вперед, и по бокам, и глаза узкие, как у азиата, просто щелки этакие. Это нам досталось, наверное, от монголов, которые в наши края любили заезжать по биз-

несу и заодно организовывали досуг с местными красавицами, секс-туризм типа. Русский знаменитый блатной прищур — оттуда же, белые подражали монголам, которые считались, да и были, круче.

Я вспомнил эту историю, когда знаменитый Дима Быков рассказывал мне про чистую и благородную пионерскую республику, где счастливые дети живут в светлом будущем. Мы при этом пили водку в ресторане ЦДЛ.

— Это ты про что? — уточнил я.

— Ну конечно же про «Артек»!

— А ты был там?

— Ну конечно! Много раз причем.

— Да что ж ты несешь такое про счастливую нежную республику. «Артек» для меня как бывшего пионера, который отбыл там срок, — обычный Совок. С тюремными законами. С шайками детдомовцев. С драками пять на одного. С применением холодного оружия (хотя формально ножницы не считаются).

— Да все ты врешь! «Артек» другой! Он прекрасный! Я сам там все видел, все знаю! Ты все врешь!

— Слушай, ты в армии же служил?

— Служил.

— А я нет. И вот щас я тебе начну рассказывать что армия — это храм мушкетеров, школа чести и мужества...

— Ну что ты преувеличиваешь!

— А ты как кто там был, в «Артеке»-то, — как пионер?

— Нет, как писатель. Как поэт.

— Алле, ты же приезжал как московский модный писатель, и чего ты ждал, чтоб тебе показали? И рассказали? Что в зимние смены там были не столько отличники, сколько дети цеховиков и блатных и беспредельные детдомовцы? Ты же летом, небось, там бывал? Да ты был просто Макс Горький на Беломорканале, которому впаривали перековку воров в ударников!

В общем, из нас каждый остался при своем мнении. И Быков обиделся. Вот уж третий год не звонит мне. И трубу

не снимает, когда я пытаюсь к нему пробиться. Талант, он всегда тонкий и ранимый, нам не чета. Да он, может, вообще не любил!

Это был 1970 год. С тех пор впечатление от Крыма не очень. Спасибо русским гопникам. Ах, пионерская, мля, звонкая республика будущего. Ну, конечно, конечно. Какая ж иначе. Артекнаш.

Маугли на донбассе

В нежном возрасте много кого тянет к военным мужественным игрушкам. Да некоторые и застревают на этой стадии развития аж до самого конца, у меня есть знакомые с седыми яйцами, которые отпуска проводят в реконструкциях, с умным видом бегают в винтажных гимнастерках со ржавыми ветхими ружьями. И неудивительно, что как-то мы с одноклассниками задумали изготовить боевой ствол. Это был скорее класс восьмой, а может, и какой другой, — но на восьмой, по совокупности улик, это смахивает больше всего.

Ствол решили мы сделать не простой, не самопал банальный, который в тех краях назывался словом «жиган», точнее *жиган*, а в России норовят поставить ударение на «а» да и еще и испохабить яркое фрикативное «г», ах, мы, типа, европейцы. Не жиган — потому что мы ж не дети уже были, чтоб баловаться примитивными, как бы первобытными, чуть ли не из каменного века, пистолетами, с какими любили позировать запорожские казаки — а те, что ж с них взять, жили в шалашах на дикой природе, что твой Гекльберри Финн, и по техническим возможностям сильно уступали даже нам, макеевским школьникам. Старые те дикие пистолеты — железная трубка, деревянная ложка, набивать шомполом, ни тебе курка, ни спускового крючка — были из детского сада, из вчерашнего дня, стыдно с такими выйти на люди.

Мы решили изготовить ствол так ствол. Под стандартный патрон! Калибра, конечно же, 5,6, мелкашка, боеприпас, который единственный был условно доступен. Мы как реалисты и люди трезвые понимали, что патронов к ав-

томату или там к ТТ, которые подходили и к маузеру, да и «маслят», то есть 9-миллиметровых под «Макарова», нам не найти, а если такие и сыщутся, то мы с них будем пылинки сдувать и от жадности повода пострелять не дождемся.

Приняв решение по калибру, мы стали придумывать дальше. Пистолет или револьвер? Вот в чем был вопрос.

Мы сели, как пишут в плохих текстах, за стол переговоров. Василий, хозяин (точнее сын хозяина) дома, где мы собрались, поскольку — частный сектор, избушка из шлакоблоков, к ней сарай с какой-никакой мастерской, с инструментами — налил нам по 50 отцовской самогонки, настоящей на жестоком, под борщ, красном ядовитом перце, мы сразу махнули, чтоб разогреть мозг и подстегнуть процесс. Автоматический пистолет как идею мы отбросили быстро, не придумав, где взять пружины, боевую и вторую, в магазин, чтоб подавать патроны наверх. Вариант же, грубо говоря, однозарядного обреза нас не устраивал решительно, — не могли мы возвращаться к тому, от чего ушли с таким трудом и такой болью!

Оставался револьвер. Как более низкая ступень эволюции механики смертоубийства.

Тут было все понятней. Значит, ствол — это стальная труба, авось, подберем. Столько заводов в городе! Рама — выпилим из железной плиты, не вопрос, там надо просверлить, где надо, выломать по контуру, по жесткому этому пунктиру, и после — напильником. Барабан — он и есть барабан, чего уж тут. Курок, спуск — это сложно, но мы уж как-нибудь.

Мы налили еще по чуть самогонки. Закусить Василий принес нам сала из морозилки (мясо/жир слоями), черный хлеб кирпичиком, цибулю, крупно нарезанную — идеальный выбор, я в любой момент даже слабым усилием воли могу вызвать в мозгу вкус этого пищевого набора, который ложится, как родной, на изысканную сивуху домашнего напитка. Сивуху, положим, легко убрать, перегони продукт еще раз-другой, почисти марганцовкой, пропусти через древесный уголь, — и будет тебе водка водкой. Но, как мы

(теперь) понимаем, буржуи же не от тупости отказываются от мертвого медицинского спирта, а пьют живой алкоголь с тем вкусом, какой дошел до людей от прапрапра- в периоде -дедов. Это вроде просто, но не все догоняют.

После такого легкого фуршета мы продолжили мозговой штурм. Сразу стало понятно, без дебатов, что тема будет гладкоствольная, про нарезку мечтать не стали бесплодно. Какая уж тут нарезка! Не осилим. Что до барабана, то он, само собой, должен не просто болтаться свободно, это не юла, чтоб разгоняться и крутиться. А там непременно встанет стопор какой-то. Было, да, больно от мысли, что надо будет вот так тупо сперва барабан подкручивать рукой, а после курок взводить, отдельно, — так ломалась бы вся эстетика процесса, из красивых элегантных военных движений, какие нам — тогда — были известны только по синематографу — получался б какой-то унылый производственный сюжет. Стало быть, без вариантов: надо придумать механизм такой, чтоб одним движением одного-единственного пальца воздействовать и на курок, и на барабан. Ну, понятно, просверлить болванку, шесть гнезд, шесть секторов, и в каждом чтоб была некая загогулина. Ее-то и будет цеплять отросток от спускового крючка. Все просто! Казалось бы. Я черкал по листку, вырванному из тетрадки по математике, бледная такая нечисто-белая бумага в нежную голубую, как вот вены просвечиваются через тонкую кожу, клетку. Конечно, в каждом секторе нарисовалась моею рукой косая ступенька, вот ее и толкать неким рычагом, идущим от курка. Это одна цельная деталь — или одной не обойтись? Как-то толкать, подталкивать, передавать импульс? Гм... Мы сопели над этим листком, подавая реплики типа «А тут? А здесь если херовину? Или, может, этак?»

Забавно, что позже мне попали в руки чертежи нагана, самого в мире — после кольта — известного револьвера. Так там — я, конечно, сразу кинулся на листы, где барабан, — на торце его были вычерчены те самые ступеньки, какие я малевал в бедной хате, которая грязно топилась

блестящим тяжелым шахтным углем. Меня это реально растрогало, вся моя предыдущая жизнь пронеслась перед моим мысленным взором, и я осознал, что мог бы, мог бы стать я серьезным человеком, солидным инженером, великим изобретателем! (Я на самом деле много чего наизобретал и начертил, но к делу ничего не приспособил и даже не продал никому, совершенно по-русски, это все давно и верно описал сильно недооцененный Лесков Николай.)

Слово за слово, нашли мы несколько вроде достойных трубок, с виду крепких, подточили их под приблизительно наш калибр и задумали провести полевые испытания. Точнее степные. Вышли в степь донецкую со стволами этими, с тисками, в которых решено было эти железяки закреплять, с молотком, чтоб бить по пробойнику, приставленному к капсулю... Василий, хозяин нашей мастерской, прихватил своего самогона, который был прекрасен своей, во-первых, бесплатностью, а в-прочих, еще много чем, и грубо скроенных бутербродов с салом. Славка же прихватил отцовский обрез, из двустволки. И три патрона. Заряженных непонятно чем. То ли жаканом, то ли дробью на утку.

— А на кой нам этот уродец? — спросил я, интересно же.

— Мало ли что...

— Или тебе угрожал кто? Вроде ж давно не дрались даже ни с кем...

— Пусть будет.

Наверное, Славку просто захватила напрочь и унесла, снесла на обочину, тема оружия, то бишь силы, воли, жизни вдали от закона и крючкотворства, от занудства и тоски. Там что-то витало такое в воздухе, в умах, в настроениях, даже у людей тихих, безобидных, очкастых — ну а что, Запорожье с Сечью рядом, и степь кругом, пределов ничему и никому не поставлено, до Гуляй-Поля знаменитого рукой подать. От живых тогда еще дедов или и вовсе прадедов до нас дошли путанные рассказы про бандитов, которые тут, ну не тут, так совсем близко, веселились и зверствовали, батька Ангел, Маруся-атаманша, Христовой, кто-то там еще, ну и свадьба в Малиновке. Вот — оружие, два, прям,

ствола, желтая грязная ложа с насечками, чтоб потная рука в бою или в засаде не скользила, легкий вкусный запах оружейного масла, тяжесть, весомость, угроза, безопасность, безнаказанность, быстрота и — чувство, что смерть рядом, своя ли, чужая, по молодости лет это все равно, и то, и то одинаково нереально, передоз *action* в кино убил тонкие чувства на этот счет.

— На хера это все... Ну да что с тобой, дураком, делать — сам тащи свою берданку и сам с ней возись. Только смотри не потеряй где по пьянке, а то ты ж любишь такое!

— Не *изди, сам ты любишь.

И вот мы там, в степи, расположились, полынь и прочие тяжелые травяные настойки на воздухе, на свежем воздухе, после на тихом неброском пресном севере такого остро не хватает. Выпили слегка, символически, — вот бы всю жизнь так легко выпивать! Быстро закусили, и ну за дело. Поставили свои ржавые с серым пыльным тиски, выровняли их, как могли, закрепили лучший из своих стволов, вставили, уплотнив клочком газеты, патрон — и херакнули по загодя заготовленной фанерке, на которой нарисовали чернилами мишень. И побежали к ней, измученные любопытством, — ну как?! Дырки в фанерке не было и близко. Черт, кажется что-то пошло не так.

Захотелось пить. Там близко был овраг, а в нем родник, мы пошли похлебать воды прямо из русла ручья, но, только спустившись, увидели парочку. У джентльмена была крайне волосатая спина, а дама, она была сильно от нас заслонена партнером, имела весьма пышные формы. Славка, дурак, свистнул, зачем-то — и голубки встрепенулись, вскочили. Да мы их и так уже узнали: это был дружинник Гога и буфетчица Маша, она нарезала тормозки, кто из дома не взял, неженатым, к примеру.

— Ах вы *ляди! — заорал Гога.

— Ну вот и на*уя ты свистел! — укорил я Славку.

— Да не ссы, сбежим, кто ж нас догонит.

— Дурака кусок, у нас же вон груза сколько!

— Тиски бросим.

- Я-те брошу! Меня батя прибьет! — строго сказал Василий. Ну и, короче, дальше мы, не спеша, пошли к своему имуществу. За нами Гога, на ходу застегивая разное.
- Гога а че ты спину не бреешь? А то ты как горилла! — это я сказал с симпатией, по-доброму.
- Я тебе сам побрею шо-нибудь!
- Маш, а нам *бать дашь? — поинтересовался Славка у дамы, которая тоже шла за всеми.
- Вы еще маленькие, вам мамка не разрешит!
- Ты че, разрешит, у меня две пятерки в четверти, у нас был с ней такой уговор!
- Ну тогда еще давай справки от училки, а то заругает меня и завстоловой моей нажалуется!

Гога по-хозяйски осматривал наш бивак — чем бы поживиться. Он такой, что вы хотите, ДНД же. Не мент, конечно, но и не лучше. Тиски, понятно, вещь скучная, но еще ж могло что-то быть в наших вещичках, что он мог нам в наказание — за подпорченное свидание — изъять в воспитательных целях. И вот... *лядь! Ружье! Обрез! Мы со Славкой переглянулись, он даже и кинулся к сумке, но Гога уже с любовью смотрел на наш ствол. Крутя его в руках. Состоя давно при ментах, он не мог смотреть на оружие без волнения, без страсти, и вот же, как все замечательно сошлось!

В общем, он улыбался изо всех сил, унося наш обрез.

- Придете ко мне в участок, будем разбираться! — сказал он на прощание.

Счастье ему привалило.

- Машку хоть оставь нам! Чтоб мы хоть утешились немного! — орал Славка вслед.
- Сами дровичте, да? Машку вам, хера!

Хорошо, он не унюхал самогонку, она была в другой сумке, не с ружьем. Он бы ее непременно нашел, если б не увлекся серьезной добычей. Бухла же у нас было полно, в отличие от закуски. Ну, хоть отдохнем, раз так! Насчет пожрать — мы давно уж заметили норки сусликов, осталось только натаскать из оврага воды (сумкой от тисков) и лить в верхний вход, а возле нижнего караулить. Суслика отловил Васька

как самый из нас основательный и хозяйский, придушив его, как только тот, мокрый как мышь, выскочил из норки, и мы его зажарили на костерке из обломков деревянных ящиков от тушенки, они очень кстати завалились в овраге.

Кто-то гулял тут, небось, отдышал.

— Ну и че, батя-то как нащел обреза? — спросил я Славку.

— Да прибьет, пожалуй. А будет пьяный, так и вовсе убьет.

— Ружье зарегистрировано?

— Откуда я знаю.

— Узнай.

— А как? Спрашивать что ли? Не-е-е...

— Да и какая разница, точно. Ствол и так и так надо как-то вернуть, все равно.

— А отдаст он, гад?

— Гога? Куда он денется...

— Денег ему дать? А как? И сколько?

— Я могу батиного самогона продать сколько-нибудь, руб-пиисят за поллитра. Полведра, пожалуй, можно отлить, — Васька как друг вызвался помочь.

— Самогонкой торговать! Вот те и еще статья. УК УССР, *ля. Не годится!

Я был против.

После долгих разговоров под суслика — у него нежное мясо, кстати, что твой крольчонок, ну или голубь, и под самогонку, жалко, уже совсем теплую, — мы придумали отнести Гоге бутылку водки и тем закрыть вопрос. Водка — напиток дорогой, благородный, достойный торжественного случая, ее просто так не будешь же пить, походя.

После, вернувшись из степи в поселок, мы посоветовались с плохими парнями, и те посмеялись над идеей — идти с одной бутылкой. Ха-ха-ха. Три! На худой конец две, раз мы все несовершеннолетние.

Короче, через два дня у нас было все готово, две поллитровки ждали счастливого момента, чтоб отдаться корыстному служителю закона, рыцарю какого ни на есть правопорядка, другого ж не было.

— Кто понесет? — спросил я.

- Ты и понесешь.
- Почему — я? Вон Славка и отнесет, ствол-то его.
- Ну какой, нах, Славка! Он не донесет. Или выпьет, или разобьет по дороге, или забудет, куда шел.
- *ля, точно.
- Так что иди ты.
- Да почему ж я?
- Ну разве непонятно? Ты из нас самый представительный. Отличник к тому же.
- При чем тут это — отличник, *уичник?
- Ну подумай сам. Когда мы с тройками и колами припремся, он будет нас только подъялдыкивать, а с тобой серьезней поговорит. К тому ж твой батя ходит, вон, в костюме, в белой рубашке и аж с галстуком. И пьет с получки коньяк!

И это все, да, было резонно.

Вечером мы все втроем пошли к участку, когда уж заметно стемнело, там толпились уже пьяные мужики, курили, орали про что-то свое, мирно. Мы остановились, переглянулись, ну ни пуха, я вдохнул — и нырнул в подвал. Там, один, сидел за столом Гога, строгий и официальный, то есть трезвый, и я ему с ходу сказал:

— Я за этим самым пришел. Давай!

— А принес? Ну доставай!

Я вытащил бутылку, из пиджака, из бокового кармана. Вдруг одной хватит.

— Ты смеяться надо мной пришел, да? Я солидный человек, а ты как ко мне подходишь? Неуважительно!

— Гога, не ссы, все в порядке.

Я достал из другого кармана, очень неохотно, и вторую водочную драгоценную бутылку. Он улыбнулся, вот, сделали же человеку приятное.

— Вижу, ты меня уважаешь!

Он встал, подошел к шкафу, отпер его тяжелым старым ключом — и протянул мне обрез:

— Все честно! Все как у людей. Видишь, я приличный человек. И ты тоже. Как отец? Привет ему.

— Передам. Скажу — вот, Гога молодец, все отдал, а взял недорого.

— Нет, про эту историю ему рассказывать незачем. Мы с тобой взрослые мужчины, все сами можем решить. Смотри, не болтай про это. Да я знаю, ты и не будешь! Ты человек ответственный, умный, отличник все-таки. Даром что без очков. Куда поступать думаешь?

Он встал из-за стола и прошел по кабинету туда-сюда, наверное, чтоб я оценил его галифе — синие, с тонким лампасом, ментовские; камуфляж тогда еще не успел войти в моду, придурковатые романтики носили что придется, лишь бы с намеком на какую униформу.

— В юридический, — сказал я первое, что пришло в голову, а получилось смешно, вот, типа, беседую с коллегой.

— Правильно! — одобрил мой выбор Гога. — Будешь уважаемый человек, и деньги всегда на кармане.

— А то и до начальника дослужусь.

— Конечно, дослужишься.

— Твоим я буду начальником!

Он задумался, посмотрел на меня еще раз. И, видно, решил, что это еще не скоро, так что волноваться нет смысла. К тому ж он ничего плохого не сделал! Ровным счетом ничего.

Мы пожали руки, вполне довольные друг другом, я засунул ствол под ремень, солдатский кстати, им очень удобно драться, захлестнув петлей на запястье, а пряжка играла роль балды кистеня — и прикрыл полой пиджака.

Через сколько-то лет Васькин отец услышал от нас эту историю, уже как анекдот, посмеялся и сказал:

— Зачем же вы так потратились? Сказали б мне, я б с него и так требовал, с засранца!

— Как так?

— А он же был «подснежник», у меня на участке числился забойщиком. Я б его прижа-а-ал! И еще б ребята его засмеяли, всю жизнь бы после ему этот случай припоминали! Шахтер он, понимаешь, а?!

— Та ниче, мы и так справились же как-то. Зачем же жаловаться ходить, лучше напрямую решить вопрос...

А мы как раз выпили, и Васькин отец спел свою любимую песню, фальшиво, но от души, он всегда ее пел по праздникам, да так, что у местных, кто в теме, слеза наворачивалась, ну так, проскакивала хотя б:

*«В чистом небе донецком
Голубиные стаи
Догоняет степной ветерок.
Пусть им вслед улетает
Эта песня простая,
Песня трудных шахтерских дорог».*

Там и еще было:

*«Не смотрите, подруги,
На шахтерские руки —
с них донецкий не смыт уголек.
Вы в глаза и сердца им загляните, подруги,
В них горит золотой огонек»*

И:

*«Только тот знает солнце и высокое небо,
Кто поднялся с зарей на гора».*

Дальше уж не помню, как говорится, «давно не бывал я в Донбассе», давно не веселился там на День шахтера со своими, из них там мало кто остался, одни померли, другие в эвакуацию уехали летом 2014-го...

И вот, значит, я поднимаюсь из подвала по ступенькам, залезаю вроде как на пьедестал почета.

— Ну?! — спросили меня хором ребята наверху.

— Ну, ну — *уй гну! - ответил я и распахнул полы пиджака как извращенец-экспгибиционист в подземном переходе. Обрез предстал перед моими дружками во всей красе.

— *ля, замечательно как! Ща прям домой отнесу, а то батя уже ищет, думает, что куда-то его засунул по пьянке!

Мы пошли проводить Славку, а то не ровен час вляпается опять куда со своим дурацким обрезом, от которого ни толку, ни радости, ни калыма.

— Дай мне, я понесу!

— Не, я тебе прям перед дверями отдам, иди пока так, не лезь.

Мы зашли с ним в подъезд недохрущевки, три этажа, поднялись до его площадки, и я передал ему усеченное, упиленное орудие убийства зверей и людей. Славка отпер дверь, из-за которой доносилось что-то бессвязное и громкое, старик-отец подавал признаки жизни! И еще оттуда аппетитно несло брагой. Распахнул, значит, он дверь, а перед ней у зеркала — Машка-буфетчица, обратно одетая, нафуфыривается, собирается.

— О, ты че тут делаешь?

— Ничо. Ухожу, не видишь?

— Маша, Маша, идем с нами! — вежливо заорали мы.

— Идите сами, я приличная женщина!

— Ну и дура. Приличная ты дура.

Она не обиделась и сказала вроде как в свое оправдание:

— Та он просто вчера телевизор выкинул с балкона, пьяный был (именно так — «пьяный»), пришел ко мне в столовую и говорит: приходи, а то мне досут нечем занять...

На том и расстались.

Револьверная тема после как-то затихла. Может, потому что начало было плохое, все скомкалось, а знаки надо ж отслеживать и учитывать. Да к тому ж был уже конец четверти, и мне — у каждого свои проблемы, свои приоритеты — надо было тройки исправлять, и районная олимпиада по химии на носу, забот и без ствола хватало. (Через, кстати, много лет револьверная тема снова прозвучала, когда я сидел в кабинете у Юры К., знакомого генерала ФСБ, и он подливал мне виски *Revolver*, и бутылка, если крутнуть, долго вертелась на столе как юла. Там на дне бутылки снаружи была пипочка, в центре, которая и давала развлека-

тельный эффект. Вкус у генеральского напитка был вполне самогонный, но производитель слишком уж увлекся очисткой, изгнав почти всю сивуху, что нехорошо, это я говорю как эксперт.)

Так я школьником вступил во взрослую жизнь, и случилось это на просторах Донбасса, вышел в степь донецкую парень молодой, очень молодой, восьмой класс, дитя. Но я уже умел коррумпировать чиновников, силовиков в частности, и понимал, что незаконное хранение огнестрельного оружия — детская шалость, а дача взятки — веселая невинная игра. Но, с другой стороны, я уже курил! Вполне по-взрослому, папиросы «Прибой». Полпачки уговаривал за день. Если тут все выстроить по порядку, хронологически, то, выходит, подкупом ментов я занялся, когда еще девчонок толком не прихватывал за живое! Как странно растут, то есть росли, дети... Странно — и быстро.

Хотя — нет, тут надо уточнить, что взрослую жизнь я уже вполне вел. К примеру, зарабатывал уже, хоть и помалу: деньги на подкуп должностного лица, свою долю, я взял из своего гонорара за какую-то заметку в газете «Макеевский рабочий». Про что заметка-то была? Я смутно припоминаю, что писал в те годы про районные спортивные соревнования, про какие-то мудацкие выставки творчества птушников, про День театра, — как его отмечали, забыл где... Написать про Гугу, мелкого оборотня, мне и в голову не пришло. Ну не пришло просто! Да и некуда мне было б нести такой текст — с Леной Рыковцевой с «Радио Свобода» я тогда не был знаком, да она, кстати, в те годы там и не работала. Я в газету в 70-е все писал правильно и понимал тоже правильно, ого-го, я был уже совсем взрослый и много чего знал про Донбасс, да и вообще про страну, не только про донецких, но и шире — про СМИ, про власть, про наш этнос, про то, как в империи живут, какие у нас порядки. Я смахивал на Маугли, который без помощи людей вникал в законы джунглей. Ну вник же! Это не сложно...

P. S.

После, когда я уже уехал из тех краев, ребята рассказали мне другую историю про Гогу, тоже смешную. Он там, на дороге, притормозил полосатой палкой «Волгу» с оленем, в ней ехали два мужика с нашей шахты, с первого участка, и наш ДНД-шник попробовал их оштрафовать за превышение.

— Тю, дурной, мы тебя, идиота, пожалели, подвезти хотели, — видим, морда знакомая! А ты что такое буровишь?

— Ничего не знаю, превысили — будете наказаны.

Для убедительности он достал из кармана пистолет. Уж чей, соседский или ментовской, или у отца взял тихо, как Славка, — кто знает. Это была страшная ошибка, совершенно непростительная, он напугать задумал своих ребят, шахтеров! Ребята удивились и пистолет у Гоги, конечно, отняли, а ему дали разок в глаз, ну как же можно оружием размахивать, в армии что ли не служил? Гога умолял вернуть ствол. Но тщетно. Потом еще неделю он ходил за ребятами по поселку и встречал их в бане после смены, и даже стоял на коленях, — отдайте, ну что вы как звери, мне ж отчитываться! Неделю он их поил, а они по литру легко уговаривали, а после сжалились над ним и таки отдали левое оружие. Донецкие — добрые и отходчивые люди, зла долго не держат и закон в принципе уважают...

ЗАПИСКИ

О ДУЭЛЬНОМ

КОДЕКСЕ

Какие у человека были драки в нежном возрасте, такая и будет у него картина жизни, так она и нарисуетя. Или, например, драк вовсе не было, кого-то ж гувернер в Летний сад гулять водил, — и это тоже заявка. Матрица просто другая.

Я смутно припоминаю свою первую, кажется, драку. Это еще детсад. Мишка Кротов бил меня, а я смотрел на него с огромным удивлением. Как, разве он не знает, что драться нехорошо? Что надо договариваться? Неужели он не хочет быть хорошим мальчиком — вот как, например, я? Гм, довольно глупо с его стороны...

Домой из детсада я пришел со следами побоев, хоть щас на судмедэкспертизу.

— Что такое?

— Да вот там один человек не хочет быть хорошим мальчиком... Ему не сказали, что надо все на словах решать. Может, я завтра открою ему глаза на правду! И он увидит свет истины.

— Ты лучше его обходи стороной. Не связывайся, — объясняла мне женская родня.

Папаша мой был, как всегда, на работе, его мнение не было до меня доведено по уважительной причине.

Дальше сопли, умывание, зеленка, все в таком духе. Потом из пивной вернулся дед — расслабленный, замед-

ленный, в целом довольный жизнью. Он принес мне пару баранок с кристаллами соли, я любил из-за этого ходить с дедом в пивную, и еще я там схлебывал пену со свежей кружки; божественный деликатес, вкус, знакомый с детства, — но в тот раз дед сходил в наше любимое заведение в одиночестве и без меня вкусил радости жизни.

Старик быстро выяснил, что к чему, и срочно повел меня гулять, внепланово.

— А нам же задали «Солнечный круг, небо вокруг», надо рисовать.

— Да плюнь ты на эти глупости.

Разговор шел на улице, чтоб в него не лезли женщины. Это ж все была натуральная крамола.

— Подойдет к тебе завтра этот — как его? — Мишка, и ты сразу...

— А если не подойдет?

— Тогда ты его отзови в сторонку. И как только вы встанете друг против друга, так ты сразу бей его по яйцам. Нет, лучше для начала в нос. Вот так, лбом. Только надо поближе подойти.

— Лбом? Мне же больно будет.

— Не будет. Там кость. А вот ему — будет. И кровяца хлынет. Запомнит твой Мишка этот разговор. Но! Никому ни слова. А то навешают на меня собак разных... С бабами лаяться мне неохота. Скажут, что дедушка тебя плохому учит.

— Так ты же и правда учишь.

— Не слушай ты их. А я тебя учу как раз хорошему. Жизнь, она вот так устроена, как я говорю, а не как бабы врут. Им-то что, сидят дома, подметают, пирожки лепят. Им-то не надо драться с пацанами. В отличие от тебя.

— А если спросят: кто научил?

— Никто не научил. Это ты просто разозлился и ударил не подумавши. Вспышка гнева. Ты борешься с несправедливостью.

— А где ж тут несправедливость, в чем?

- Как в чем? Тебя бьют, а ты — нет.
- Странно... А почему папа меня этому не научил?
- Откуда я знаю? Он умный, институт кончил, партийный... Что у них там в голове, у партийных? Я, честно сказать, не понимаю... Странные они. Нету к ним доверия.
- А туда же лучших берут, в партию.
- Да чем же он лучше меня? Такой же мудака.

Я задумался. Отец — он отец, да. Но и дед же не чужой. К тому ж он воевал! Бил фашистов. А после работал на паровозе кочегаром. Это очень серьезные в жизни вещи.

- А я у него спрошу, почему так.
- Не вздумай. Это последнее дело. Меньше языком надо трепать. И, кстати, баб не слушай. Кто их слушает — тому кранты, поверь...
- Ты уже это говорил.
- Повторение — мать учения.

Назавтра я сделал все, как учил дедушка, отозвал Мишку в сторонку, специально отвел руки за спину, чтоб усыпить его бдительность — и уделал в нос головной костью. Мишка заорал, мне тоже было страшно — кровяца ж хлынула из вражеского носа! Подбежали воспитательши, они тоже орал и тоже с ужасом, как Мишка, смотрели на меня, вроде послушного воспитанного мальчика, который вот, пожалте, — зверствует. Ударил другого хорошего мальчика. Избил его! Напав вероломно! Когда нас разбирали вечером по домам, я наслушался всяких восклицаний и ахов. Как нехорошо выглядел я, какой невинной жертвой казался Мишка!

- Да как же ты мог?!
 - А он первый начал.
 - Нет, все видели, что ты на него напал!
 - А это раньше было. Вчера он напал.
- Провели опрос очевидцев. Мои показания подтвердились.

- А зачем же вот так сразу ударил? Можно было просто толкнуть, а ты вон какую ему кровяницу пустил.
- Но я ж не знал! Я первый раз в жизни сегодня бил человека...

После я встретил ту же аргументацию у Трумэна. Зачем же он скинул бомбы на японские города? Тот резонно ответил, что ранее это оружие не применялось и про его эффект никто не знал. Его еще спросили про вторую бомбу, зачем она, когда после первой ее сила была уже измерена. Трумэн и тут выкрутился, — если б, говорит, они сразу после первой капитулировали, то больше б никто и не стал бомбить.

Дед встречал меня в дверях, стоя как под триумфальной аркой. Подмигнул и говорит:

— Бабушка, внучок пива просит, дай нам руп!

— Да когда ж ты напьешься, на тебе твой руп...

Она правильно делала, что не спорила. Не дала б рубля — он пошел бы к соседям и в долг или даже даром выпил бы у них самогонки столько, что мало б никому не показалось. С таких вылазок дедушка возвращался походкой Вия, которому еще не подняли веки. Он шел как будто вслепую, ничего не видя ни перед собой, ни вокруг.

Короче, мы сразу пошли в пивную, мне досталась пена с трех кружек и восемь сушек. Жизнь потихоньку начинала удаваться. Всегда ж приятно разбить врага и одержать над ним победу. Под пиво мы, как положено, вели неторопливые разговоры за жизнь, мужскую жизнь.

— И что, он прям рыдал?

— Да, дедушка, он рыдал как девочка. Если ее нечаянно толкнуть.

— И че, кровь и сопли?

— Да, это было так некрасиво. Неприятно, честно признаюсь. Коврик запачкался...

— Ну вот, видишь, как все хорошо кончилось! Щас я еще кружечку возьму, постой тут...

Но угрызения совести были. Я всех обманул, столько лет был хорошим мальчиком, и вот — на тебе. Теперь я плохой мальчик. Что со мной будет? Кем я стану? Теперь уж точно не военным моряком, туда плохих не берут. Но отступать поздно, пути назад нету. Позже что-то похожее было и по другому поводу: с девчонками можно максимум целоваться, но не делать с ними стыдные, ужасные вещи, сняв трусы.

Прошли, как говорится, годы. И вот мы со старым другом, который тоже когда-то ходил со мной в один детсад, шли по улице, которая вела от школы к шахте. С нами была хорошая девочка, зря мы тогда не дружили с плохими, это уже позже — и мы ее провожали домой со школьного вечера. Сдается мне, это был девятый класс. За красавицей ухаживал наш товарищ из другой школы, а еще — местный хулиган с погонялом Бук. Как только танцы кончились, красавец наш, который отважно прибыл в наш медвежий угол из центра, задумался. Монтеки проник на бал к Капулетти, да, — а как выбираться? С чужой территории? Мы его отвели на остановку и посадили на автобус, уговорив его — это не бегство, а временное отступление, организованный отход, выравнивание линии фронта! Все, типа, в рамках понятий! А подругу его мы проводим сами. Ну и дальше Бук и его бандиты *перестрели* нас. Хорошее слово — «перестрели», это суржик или казачье? Интересно... хулиганы нам говорят:

— Идите, пацаны, по домам, а мы дальше ее сами проводим, не ссыте.

Это было неприемлемо, конечно, а их было семеро против нас двоих, и стали нас бить, такое, увы, иногда случалось. Я после, когда все кончилось, долго радовался, что со мной не было ножа, меня с ним просто не пустили б на школьный вечер, ну вот как щас в аэропорт. Подрезал бы Бука — и вперед на нары, это было б довольно глупо. На первых тактах драки моему детсадовскому дружку, я увидел это краем глаза, натянули на голову его же пиджак — и дальше

он, если что и мог, то вслепую размахивать руками, пропуская все удары. Я же ухватил за ворот Бука, согнул его буквой Г и стал беспорядочно бить кулаком по лицу. Остальные бандиты охаживали меня со всех сторон, но я терпел, думал, хоть одного надо обработать, тем более, что он главный. Хорошо, что мы были еще, грубо говоря, дети, ни при ком не было хоть свинчатки, и мы все выпили по бутылке *білого міцного* после танцев, разливая в туалете, расслабились и устали, так что драка шла очень вяло, да и повод для нее был чисто символический — никто не собирался насилловать красавицу. Пока мы так вяло махались, мимо прошла стайка шахтеров и разогнала нас.

На другой день в школе на какой-то урок зашла классная и коротко, без фамилий, изложила вчерашний сюжет, обозначив героизм неких учеников нашей школы и спасение девичьей чести. Я слушал это, глядя в крышку парты, и вспоминал деда, который когда-то увел меня в пивную, вырвав из рядов хороших мальчиков.

На перемене я встретил в коридоре Бука.

— Ну как мы вас вчера отметили? — спросил он довольным голосом.

— Я рад, что хлебало тебе отрихтовал, бланши-то неплохие. Походишь еще с битой мордой! И все ж знают, кто тебе ее начистил. А вам победа не засчитывается: вас семеро было, а нас двое.

— Ну мы еще увидимся.

— К вашим услугам.

Я после, пока не улеглось, много лет жалел об одной штуке: я мог бы ударить Бука коленом в лицо, уже ж я его нагнул, — и вывел бы его из строя, и мог бы еще одного сбить! Но — как-то не додумался. Упустил шанс.

После мы как-то вышли с Буком поговорить на *backyard* за школу и в середине фразы я неожиданно для себя заметил,

что ударил его, разбив ему губы, а себе поранив об зубы пальцы, а потом еще приложился пару раз. Я был удивлен, я сам не мог себе объяснить, как и почему вдруг тема внезапно поменялась, я ж реально собирался просто поговорить. Потом на танцах в клубе он нанял взрослого боксера, тот перекрыл выход из туалета и провел серию ударов по моей умной голове. Я изо всех сил держался, чтоб не упасть, и обошлось даже без нокаута. Через пару вечеров мы с ребятами, все при монтировках и солдатских ремнях, пришли в темноте уже под окна Бука и стали его вызывать на разговор. Мы орали:

— Бук, выходи, падла!

Пьяные, само собой.

Когда мы это проорали первый раз, во всем доме погасли окна, во всех квартирах. Мы неправильно звали, надо было по имени, но никто его не мог вспомнить, знали только погоняло.

После у нас были еще какие-то встречи, на танцах и за школой, возле угольной кучи, уже и не вспомнить всего. Один на один я мог его повалить, но когда их было двое или трое — счет получался не в мою пользу.

А, да, детсадовский дружбан мой куда-то пропал, когда я — уже не том веке, про который разговор, а в следующем — залег в больницу, всем тогда казалось, что помирать. Я, однако, оттуда вышел и спросил пропавшую душу при встрече:

— А шо так? Наверно, ты решил, что раз мне уже педетс, то нет смысла тратить на меня время?

— Ты все неправильно понял.

— А надо правильно? Это как?

— Я тебе после объясню... Не сейчас.

Мы после пару раз виделись в компаниях, привет-привет, но за жизнь не заговаривали. Он отрастил красивые усы. Возможно, у него правда была какая-то причина, которую

не стоило излагать? Или моя шутовская версия была не до конца шутовской? Поди знай. Да и — какая разница, на то и друзья чтоб их терять, я жить рожден, чтоб мыслить и страдать и т. д.

И еще раз прошли годы. МГУ поехал на картошку, денег у нас было мало, магазины далеко, и один малый, из наших, с курса, стал приторговывать самогонкой, это как бы такой получился привет из Донбасса.

— Где берешь? — спросил я.

— Места знать надо! — весело отвечал он.

— Слушай, по всему Союзу бутылка стоит руб-пийсят, а ты, падла, по три продаешь. Ты же просто крысятничаешь.

— Не порти мне бизнес.

— А испорчу.

— Тебе слабо. Ты ж не знаешь, где я беру!

Однако найти поставщика было легче легкого. Я спросил у местной поварихи, где ближайшая от нашего пионерлагеря деревня. Пришел туда, стукнул в окошко первой хаты, пардон, избы, и спросил, кто гонит. Мне указали на дом дяди Коли. Я выкупил у него все нагнанное и принес в лагерь. Продал ребятам почем взял, правда, на севере самогонка была два рубля, а не полтора, как в Донбассе.

Дилер был вне себя. Я влез в его бизнес. Нанес ему ущерб. Не получив, что самое для него оскорбительное, никакой выгоды. Зачем же тогда? А затем, мы разошлись в трактовке понятий. Можно зарабатывать на своих? Или нет? Я был просто советский человек... А он уже нет.

Разборка состоялась на футбольном поле в ту же ночь. При стечении народа. Откуда такие тюремные нравы в университетской среде? А почти все же в армии служили (кроме меня), а это чем не тюряга, те же в целом порядки, при том что на киче все даже несколько гуманней.

Встреча двух ковбоев была короткой: довольно быстро мне посчастливилось послать дилера в нокдаун, даром что

он был покрепче меня, потяжелей — но зато ж и пьяней, что дало мне преимущество. Поверженный противник вскочил и заорал дурным голосом, что все только начинается ааааа! Но братва объявила бой законченным.

И что в итоге? Дядя Коля продолжал гнать, но самогонка стала хуже, слабей и воняла бардой, и отчасти ею и была, — на ровном месте производительность труда не поднимешь без потери качества, это первый курс.

Драка в пионерском лагере МГУ запомнилась мне надолго, это была просто смена вех! Это вам не семеро на одного, а строго один на один, с соблюдением дуэльного кодекса, который я и не думал, что сохранился еще где-то. Я даже прослезился. Ну а что вы хотите — это был уже не Донбасс, не шахта им. В. М. Бажанова, но — МГУ им. М. В. Ломоносова.

Почувствуйте разницу, как говорится.

Золотая медаль

Один донецкий рассказал мне эту интимную историю. О которой всю жизнь молчал.

«Уже все умерли, так что можно.

Я был в школе отличником.

Отчего так? От большого ума? Или оттого, что в тех местах немодно было учиться? Примеров веселой жизни умников, которой можно было б позавидовать, вокруг не наблюдалось. Ну что — учителька бедная могла быть тренд-сеттером? Завуч? Начальник участка на шахте, который зарабатывал куда меньше рядового забойщика? Завмаг? Последний хоть и жировал, но его презирали, жалели, смеялись над ним, да и то еще вопрос — а был ли у него диплом. Врач? Который копался в чужом говне и смиренно брал подношения, без которых куда ж ему?

Нет, от учебы толку никакого, жизнь это показывала с мощной убедительностью. Там и тут мелькали какие-то очкарики, убогие, бледные, и простые ребята гордились тем, что не разбивают очки этим лузерам. По доброте душевной, типа, что ж с них взять.

А пролетарий мог и тыщу рублей заработать на хорошем участке. Купить «Москвич» и ездить на Азовское море каждые выходные, ходу-то два часа, ну три. А там в палатке — живи не хочу. Рыбаки икру продают по десятке за ведро, а оставшихся от нее выпотрошенных осетров можно было, считай, даром брать, когда кончится колбаса.

Яйцеголовые влачили жалкую жизнь и рассчитывать на уважение, конечно, не могли. Шахтеры, настоящие ж муж-

чины, гибли весьма часто, это вам не учителя какие-нибудь ссыкливые. Массовые похороны были в тех краях обычным явлением. Как и ровные ряды могил с гранитными плитами, с гравировками на них одним почерком и с общей датой смерти. Я запомнил — и это было, кажись, вообще первым моим воспоминанием об этой жизни — как меня, младенца, мать прижимала к себе на бегу, в ночи, и с нами мчалась целая толпа, и все выли. А просто на шахте что-то гроыхнуло, и потенциальные вдовы подхватились и побежали, отец как раз был на смене. Кого-то из моих школьных знакомых убило в шахте, зайдешь на кладбище, тут и там мелькают знакомые лица, отлитые, как сейчас модно говорить, в граните. Из моей родни иные женаты были на шахтерских вдовах, обычные истории, когда их рассказывали, то положено было на десять секунд делать умеренно скорбное лицо, «и я бы мог». А что взять с интеллигентов, разве из них кто может вот так спокойно относиться к смерти? Способен из них кто-то рассказывать нецензурные байки на километровой глубине, отключив воображение и не думая про тыщи тонн грунта над головой? То-то же. Сами понимаете.

Да, только страшная ошибка в жизни могла привести человека на скользкую кривую дорожку отличной учебы и, заодно уж, примерного поведения.

Что касается меня, то знакомый психиатр, мой собутыльник, буквально на днях сказал, что давно уже уличил меня в аутизме с гиперкомпенсацией, и в этом что-то есть не только смешное. Так что к плохому, к умному я не тянулся, наследственность просто такая.

И вот в девятом, видимо, классе про меня стали говаривать: «Он идет на медаль». Я был спортсмен, но речь шла про другую медаль. Аутист-спортсмен? Так не футболист же. Кстати, футбол у нас не идет, думаю, оттого, что наши люди не могут договориться между собой и не доверяют

никому из своих, и правильно делают. Подножку у нас подставят легко, а пас дать грамотно — это слишком далеко от жизни, ведь невозможно возлюбить ближнего хоть на треть так, как себя. Про футбол надо сказать, что страсть к нему не просто так тупо вспыхивает, на ровном месте, — но передается по наследству. У нас дома не было телевизора до конца моего седьмого класса, и отец футболом никогда не интересовался, эти пролетарские радости походов на стадион под татата-тарататата-футбольный марш меня миновали, и слава Богу, я избавился от тягостной зависимости, не успев ею даже обзавестись, хватило мне и курения, которое держало меня на вонючей никотиновой цепи аж 20 лет, пока я не вырвался на волю, вот еще б и с водкой так, а? (И с бабами, но это уже мечты.)

Как так — я вдруг спортсмен? А так, что я был сам по себе, это ж легкая атлетика, бег, вроде с кем-то соревнуешься, но бежишь-то в одиночестве, сам по себе. Бывало, приходил последним, но, даже видя, что все кончено, — с дистанции не сходил, не сошел ни разу. У них там все кончилось, они поделили медали и пошли в раздевалку, а после в душ, они орут, шлепают друг друга по спинам, это их праздник, а я-то при чем? У меня своя жизнь. Я зачем-то придумал, что это унижительно — с кем-то соревноваться. Я соревновался только сам с собой, это казалось достойным занятием, это был мой уровень. Если б Дуня Смирнова была постарше и у нее уже в те годы завелись бы деньги, она могла б поддерживать меня, юного аутиста, в рамках сегодняшнего ее фонда, я дико люблю, да, благотворительность.

На кой я пошел в спорт, теперь уже не вспомнить точно и достоверно по прошествии 40 лет. Я, кстати, ровно столько уже хожу по жизненной пустыне, с тех пор как ушел из школы, где неволя была вопиющей и несравненной, оттуда и тюрьма у нас с армией, откуда ж еще. Теперь, когда моих учителей уж нет, и директор с учителями, плантатор и его надсмотрщики, больше не подвергают нас постыдным

пыткам, мозги начинают прочищаться, и в них появляется простая и ясная картинка жизни, а чего тут сложного, если не мутить и не замутнять.

«Идет на медаль», говорили про меня, ну ладно, иду. На самом же деле я читал себе свои книжки и жил в свое удовольствие, делов-то. Зачем медаль, это статус что ли поднимало? Не, больше уж некуда было его задирать после моих заметок в газете «Червоний Бандера» (или как она там называлась, очень смешные были названия у советских газет), это была вершина славы, я жил как бы настоящей взрослой жизнью, в то время как одноклассники оставались детьми и в плане взрослости могли похвастать разве что приводом в милицию или сексом с какой-нибудь оторвой, кстати, жаль, что я это тогда пропустил, а уже ж и не вернешь. Теперь хоть весь публичный дом арендуй на неделю для себя одного, все равно уж не будет того детского бездонного яркого разврата, возможность для него утеряна навеки. Ничего уже нельзя исправить, как говорят турки, когда отрубят голову не тому, кому надо, — это я цитирую кого-то из классиков.

Шел, значит, шел я к медали, и на этом пути вырулил на финишную прямую. Подошли экзамены. Было сочинение. Я бы убивал людей, которые придумывают темы. Катерина и луч света в темном царстве. Природа в произведениях М. Ю. Лермонтова. Образ Ленина в стихах Маяковского. Природа у Пушкина. Образы купцов у Островского. Нет, я не всех бы придумщиков убил сразу, а сперва б их заставил самих написать эти мудовые тексты и выставил бы им оценки, а уж после убил. И это не призыв к экстремизму, тех умников уж вряд ли можно убить, по той же причине, по которой Канта нельзя законопатить на Соловки.

Сочинение я написал, значит, как мог, и пошел домой. На другой день завуч подошла ко мне сияющая и сообщила, что у меня пятерка и иного она не ожидала. Я пожал плеча-

ми, но и поблагодарил за хорошую новость. На третий день она пришла ко мне домой, я открыл дверь и отметил, что лица на ней не было. Она была сурова как пойманная фашистами партизанка из сочинения по «Молодой гвардии» Фадеева, нас возили на экскурсию в Краснодон и там грузили по полной. Завуч прошла на кухню, где простой народ принимает гостей за неимением гостиных, и тяжело села там на деревянную крашеную табуретку. Дед побежал надевать штаны и рубашку, поскольку был в пижамных штанах и в майке-алкоголичке. Бабка метнулась к шкафчику с валидолом, спасти жизнь учительке. Та, держась за сердце, сделала траурное сообщение: РОНО не подтвердило мою пятерку и поставило за сочинение — честно сказать, уж не помню, что я там накорябал и про кого — четверку. — Ну и ниче страшного, — сказал я наплевательским тоном. — Вы чай будете?

— Как — ниче страшного? На кону честь школы!

Она рассказала, что там были сплетены какие-то интриги, заговор удался, и вот в итоге мне вырван роскошный шанс, счастливый билет, как бывает лишний билетик на премьеру, и я прям щас сяду и перепишу сочинение с учетом пожеланий *вышестоящих товарищей*. Бланки с печатями у нее с собой. Вперед к победе!

Дальше была перепалка про то, что нахера мне все бросать и подделывать документы, оно мне надо? А честь же школы, многолетние усилия, заслуженная награда за неимоверные труды и что-то еще в таком духе. Но я, разумеется, был непреклонен, а как вы хотели! Она чуть не зарыдала в ответ на такое. Дед пошел обуваться, когда он наклонился, лицо его еще больше покраснело, он был склонен к апоплексическому удару, все это знали, тем и кончилось.

— Ты куда на ночь глядя?

— Как куда? На центральный телеграф, дам родителям твоим срочную телеграмму.

— Да ладно! Вот про эту ерунду с подделкой документов — телеграмму?

— Ну, почему же про ерунду. Я им отобью вот что: «С внуком страшное несчастье срочно приезжайте воск!».

— Какое такое несчастье?

— Ну вот же. Ты задумал ужасное. Учительницу не слушаешь.

И тут он тяжело сел и схватился натурально за сердце.

— Бабушка, — захрипел он, — где мой нитроглицерин...

Она откинула в сторону валидол, который не понадобился учителке, — и в три секунды, тренированная, подала требуемое.

— Никуда ты не поедешь. Ложись на диван и карауль этого бандита, а я сама сгоняю на телеграф.

— Вы не сделаете этого!

— Почему же это не сделаю? Очень даже сделаю. Я не дам тебе испортить себе жизнь навсегда, одной вот такой глупостью.

— Но они с ума там сойдут! Это что ж они, все бросят и посреди отпуска полетят из Сочи сюда?

— Да, они спасут тебя и образумят. А ты шамашедший! Уйди с дороги! — закричала она дурным голосом.

Я задумался. Вот черт знает, что мне с ними со всеми делать. Представил себе, как мать тоже схватится за сердце, и отца, который мрачно махнет стакан, как они там будут скандалить со знанием дела и орать друг другу про развод, на который зря не решились сразу!!! А потом они в ночи будут ловить такси и лететь на вокзал или уж не знаю там, в аэропорт...

Короче, я принял решение спасти их всех, то есть капи-тулировал. И, навздыхавшись, сел за стол, и малодушно переписал тот и без того постыдный текст, вставив в него какие-то требуемые канцеляризмы и цитаты из решения пленума чего-то про что-то. Будучи тогда еще чистым и доверчивым, я наслаждался ужасом от заглядывания в бездну: вот, сами учат одному, а на самом деле они другие, вот же, обманывают детей! Наконец исти-

на открылась мне, и я вижу, чего стоит взрослая жизнь, в которой нет даже тени честности и благородства... Это было огромное наслаждение — вот так терзаться на почве откровения. Разочарование было безмерным и счастливым, я с жалостью, с искренним сожалением думал о своих товарищах, которые могли только подозревать о том, по каким кривым лекалам скроена наша корявая жизнь. Мелькали, правда, и мысли про то, что неплохо бы уйти в бунт, плюнуть на все, послать это все нах! Я гордый и смелый, и не отступлюсь от правды! Пусть погибнет мир, а я буду весь в белом. Это все на фоне простых привычных подростковых мыслей насчет героического самоубийства. По какому-нибудь возвышенному поводу.

Фальшак наш совместный все, кому надо, схавали, честь школы я спас жульнически, отпуск родителям не испортил, от лишнего скандала их избавил, впрочем, они вскоре все равно развелись, сойдясь напоследок, перед тем как смерть разлучила их уж напрочь.

Из отпуска они вернулись к выпускному и изъяли у меня медаль, а я намеревался опустить ее в стакан с самогонкой и выпить алкоголь аккуратно, не проглотив награды. Что-то такое я видел в кино про героев, мне так хотелось это исполнить. Если б я забрал медаль на пьянку, едва ли она б оттуда вернулась, и это, пожалуй, было бы лучшим для всех выходом из той мутной ситуации.

Медаль та — а других мне больше и не доставалось — мне, как я провидчески и подозревал, ничем в жизни не помогла, это предчувствие, вполне вероятно, и подпихивало меня к героическому самоотречению и отказу от своей выгоды заради бесконечной красивой честности и образцовой принципиальности. Всякий раз, как я шел сдавать экзамен в универ — и впервые, и на следующий год, — мне, разумеется, сразу ставили четверку и я сдавал все четыре экзамена как простой смертный, как рядовые школьные

выпускники. Никакого урока в этом я не усмотрел. Про бритву Оккама я тогда не слышал, но идея, кажись, витала в воздухе — и я пытался, по зову подсознания, отсесть лишнее и не умножать ерунды.

Много лет спустя, уже закончив учебу, я оказался на мели, жизнь дала трещину, и я, распродав какие-то ценные вещи типа джинсовой куртки малоизвестной фирмы, но из толстого настоящего денима, — вдруг вспомнил про ту медаль, которая по причине компактности сопровождала меня в скитаниях, и решил ее продать. Это было в те годы, когда простые люди про интернет и не слышали, я купил «МК», стал читать полосу объявлений и нашел там телефончик скупщика медалей. Он оборвал мои объяснения и сразу сказал, что вообще в теме, и назначил встречу через час на дальней станции метро. Он был, как сейчас помню, в очках и в шляпе, с дипломатом, точно не шахтер. На медаль он кинулся как коршун, но, как только взял ее пальцами левой руки, тут же брезгливо перекинул ее мне обратно на ладонь с возгласом:

— Так она ж не золотая! Алюминий это, что ли! На кой мне такая...

— Алё, мужик, ты ж говорил, что ты в теме! И знаешь все про школьные медали!

— Но ты ж сказал, что она золотая!

Я быстро шел за ним, пытаюсь догнать, и просил двадцатку, на две бутылки водки, братва ждала меня на блатхате, мы были уверены, что тем вечером таки выпьем, отдохнем как белые люди. После двадцатки я предложил ему десятку, а там и пятерку, ну хоть на два портвейна, но он молча убежал от меня.

Медаль так и осталась у меня, раз в пару лет она попадает мне на глаза, и я читаю надпись: «За відмінні успіхи та зразкову поведінку». Наверно, это ничего не стоит, когда нас хвалят и превозносят, поддельное золото я не смог сменить даже на пару бутылок сомнительного пойла. И поражение от победы ты сам... Как там дальше?

Позже своим детям я сказал, что они вольны получать любые оценки, мне до этого нет дела. Вот, пожалуй, единственная выгода от старой награды.

Напоследок все ж похвастаюсь: я принял ту медаль равнодушно, нечаянно и совершенно случайно сделав шаг, один шаг, по пути самурая».

ВЫПУСКНАЯ

НОЧЬ

Выпускной наш школьный вечер проходил, то есть проходила, это ж была жесткая недетская пьянка — на окраине поселка шахты Бажанова, неподалеку от знаменитого дурдома, — в доме одноклассника. Родители его пустили нас по доброте душевной. Домик был бедный, низкий, вросший в землю — такие дома вам покажут в Запорожской Сечи, так строили, чтоб экономить тепло. Хатка эта саманная стояла на участке в четыре сотки, столько давали там и тогда, — не шесть соток среднерусских, поменьше, может оттого, что на Юге больше солнца и урожай будет поболее северного.

От бытовой стороны вопроса родители нас избавили, все ж мы были еще дети, считай. Мы скинулись по сколько-то рублей, и еще же, смутно припоминаю, мы классом ездили в ближайший совхоз и там работали на току, деньги — на общак. Активистки из родительского комитета нарубили салатов, натащили домашних солений и консервов типа сотэ. Еще была вареная дефицитная колбаса и домашние котлеты с картошкой, и даже пяток банок шпрот, привезенных кем-то из Москвы и значенных для торжественного случая, который вот же и настал.

Перед банкетом мы с ребятами пошли в школу, и так прочувствованно, ностальгически, ну и развлекься напоследок. Там был тир с мелкашками, калибр 5,6 мм, иные из нас ходили в стрелковый кружок и замечательно стреляли, ну а как, вот же наш *frontier*, граница русского мира, то бишь скифских диких полей, — и Европы, которая начиналась, казалось, в близком — до него 20 км — Донецке с его проспектами, фонарями на улицах, брусчат-

кой местами и кварталами сталинских домов с цоколями из дикого камня. Какие-то куски Донецка — улица Артема, что ли, где был магазин с книжками на иностранных, улица такая крутая, если без тормозов, так унесет вдаль, непонятно, где остановишься, — были чисто как Крещатик. И дома, считай, один в один. Так спуск от шахты Бажанова к шахтному поселку по улице, по которой ходили сперва автобусы, а потом уж и вовсе троллейбусы, — дико похож на дорогу от метро «Измайловский парк» к Первомайской улице. Грубо говоря, и уклон тот же, и деревья по обочинам, и послевоенные дома по сторонам, и провинциальный полумертвый покой. Особенно весной, особенно синим вечером, когда что-то смазывается, и дать двести — сходство усиливается вплоть до потери чувства реальности, будто тебя как-то странно и незаконно выхватило из одного мира и закинуло в другой, а ты и рад; но спросили бы, глядишь и не согласился б. И клуб страшно похож наш тот на наш этот, его только сдвинули на пару кварталов вбок, и это не вываливается из реальности, вон же редакцию «Труда» перетаскивали с места на место за каким-то хреном. Только у нас там клуб был шахтный, а тут районный.

Такие поездки на троллейбусе прекрасны, хотя бы тем, что легко, быстро и дешево снимают ностальгию, которая иногда заставляет наломать дров, да.

И вот, не зная еще ничего о будущем, мы пришли в тот свой тир, и военрук, отставник, кстати, симпатичный и трепетный, пустил нас, а куда деваться. И раздал винтовки.

— Идите себе сами мишени ставьте.

Славка взял туда, на тот конец, портфель, с виду так тяжелый.

— Ты чего его туда тащишь?

— А узнаете.

Подошли мы к расстрельной стенке, там обрубки арматуры, с железными прищепками, чтоб держать фанерку с мишенью. Славка нас с нашими мишеньками отодвинул,

поставил на пол портфель и достал оттуда учебник литературы.

— Вот! Вот что я ненавижу больше всего все эти годы... Я задумался. Чего ж плохого в литературе? Но таки вспомнил школьные уроки... «Улица корчится безъязыкая, Ей нечем кричать и разговаривать». Некоторые мои друзья сейчас нахваливают Маяковского, а я до сих пор его ненавижу, после школы-то. Уметь надо преподавать... Сочинения еще вспомнил. Образ кого-то там-то. Или — природа в повестях Н. Русский народ в «Войне и мире». Кто придумывал эти темы? Садисты? Людоеды? Дебилы? Тупые животные? Нельзя было тупо задать людям: напиши про книгу из школьной же программы, которая тебе понравилась / не понравилась, и объясни почему. Покажешь, что ты читал, а что нет. Ну и дашь разбор. Типа рецензии. Все какая-то практическая польза. Но был же какой-то в этом смысл? А таки да, и вот какой: учитесь, дети, выкручиваться и выворачиваться, ловите желания начальства и учитесь ему угождать, да еще так, чтоб это было убедительно.

Славка любовно пристроил русскую литературу на линии огня и после еще заботливо поправил книжечку, так президент, установив венок у могилы неизвестного солдата, демонстративно поправляет ленточку, которая и так держится как приклеенная. Но тут была не могила неизвестного солдата, а этакий мартиролог с именами классиков, которых нас научили ненавидеть... Они все как один, как Пушкин, встали, были поставлены, под ствол, чтоб ответить за нанесенные оскорбления и за принятые людьми муки...

Я заглянул в открытый портфель. Какой учебник сам на меня посмотрит, тот и возьму! Это была физика. Не плохая идея! На первый взгляд. Я вспомнил, как Валентина Петровна поставила мне двойку. Она нарисовала на доске четыре кружка по углам квадрата и говорит:

— Представь, что это электроны. Нарисуй-ка вектора!

Дело простое, и их я нарисовал, стрелочками.

— И что с ними будет?

- Да разлетятся в разные стороны, согласно векторам.
- Что ж ты такое говоришь? Вектора же, сам видишь, направлены в разные стороны. Стало быть, что? Они взаимно уничтожатся! И наши электроны будут стоять на своих местах.
- Валентина свет Петровна, так они ж не привязаны веревками друг к другу! Если б так, то да, стояли б тупо по углам... И где ж это вы видели стоящие бездвижно электроны?

Два балла.

- Кто хочет ответить?

А уже тянул руку и высовывал язык Менделевич, тоже отличник, как я, но размахом поскромней, на медаль он даже не шел.

- Давай, Сережа!

Он выскочил к доске и ловко перечеркнул вектора, и электроны на доске встали, как у молодого.

- Вот кому сегодня я поставлю пятерку! — довольно сказала наша Валентина Петровна, надо же, как я все помню через сорок лет. Берегитесь, учительки! И знайте: пощады вам не будет. Воспоминания не горят.

Физика — это вам не литература, но и тут найдется подходящий материал для воспитания правильного гражданина, который знает, где что сказать, а где и смолчать. А так-то Серега был нормальный парень, прекрасно пел матерные частушки, с чувством, аж заходился а-а-а! Но все ж таки физика была роскошной наукой. Я читал про электричество, про расщепление ядра и про планеты не отрываясь, будто это детективы. Еще я тайком выписывал мудреный журнал «Квант» для яйцеголовых старшеклассников и листал мемуары Энрико Ферми.

Физику я со вздохом всунул обратно в портфель, весь поюзанный и распахнутый бесстыдно, будто дамская гени- талия из порно. А что у нас там еще? «Рідна мова»! Я резво ухватил ее. Полистал... Вспомнил учительку Лидию Ивановну... Она была не кошелка какая, а дама весьма стиль- ная. Прическа была у нее не то что не хала, а как бы анти-

хала. Ну, грубо говоря, как у Ирины Хакамады, которая, как известно, стрижется у Сережи в московском заведении возле *Bookafe*, сколько уж красавиц выпросило у меня этот адресок! Впрочем, прическа не главное. Лидия ходила на высоченных, сцуко, каблуках и ставила ногу, будто она, если не на стриптизе, то уж, как минимум, на подиуме в Милане, на *Milanomoda*. Чулки были на ней жестко черные, блестящие. Вообще ее ноги радовали меня, да, наверное, надо сказать — нас.

Впрочем, и ноги не главное.

Она еще была просто красавица, глаза-нос-рисунок-лица-губы. Хотя, впрочем, и это не главное, одной красотой сыт не будешь. У нее еще была страшная какая-то безграничная уверенность в себе. И — как медленно она поворачивала голову! А какая легкая роскошная мутность была в ее глазах, которыми она смотрела в мои, когда, сверяясь с журналом, думала, кого б вызвать к доске! Боже мой... Перед ней был как будто судовой журнал борделя, набитого молоденькими красавцами, готовыми выскочить из-за усохшей парты по первому зову. Она как будто молча цитировала:

— Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

Я прекрасно помню, как она смотрела, лениво и смело, на нас, ну на меня, по крайней мере! (Не буду отвечать за других.) Было ли возможно что-то? Реально? Или хоть мечталось о таком роскошном разврате? Но, по-любому, вряд ли бы я отважился на такое, даже если и. Просто б сбежал, если б дошло до дела. Пожалуй, даже каннибализм тогда показался бы мне менее чудовищным преступлением, чем... Какой ерундой, какими провинциальными страхами были наполнены наши бедные головы...

Лидия Иванна была совершенно не наша, не местная. Свои говорили на мове похуже, чем она. Откуда ж она была? З Галичини? Возможно... Сейчас я могу сказать,

что некий был в ней польский лоск. Как ее к нам занесло? По распределению? Или поехала за мужем? В своих порнографических чулках? Я себе представлял, что с ней вытворяет муж, что такое, отчего она утром в школе такая усталая, ленивая и довольная. И муж у нее был непростой. Не шахтер, не врач, ну кто еще бывает, кого мы видим вокруг себя каждый день? — но летчик! Ближайший к нам аэропорт был Донецкий, и вот вчера вроде ДНРовские выбили оттуда киборгов, а сегодня все поменялось... Я из этого аэропорта имени, кстати, Сергея Прокофьева, он, что ли в наши края родился, земля? — последний раз вылетал осенью 13-го. Он как раз недавно был перестроен, к Евро, за 800 с чем-то миллионов грин, чтоб превратиться в руины и в пыль. Какая получилась затейливая и дорогая донецкая наша мандала, а?

Короче, мова шла на ура. На ней разговаривали в семье деда, единственного, который вернулся с войны, но школа — это было нечто иное. Литература. «Лупайте цю скалу, / Нехай ні жар, ні холод / Не спинить вас, / Лупайте цю скалу!» Это был «Каменяр». «А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. А сестри, сестри! Горе вам, мои голубки молодії. У наймах коси посивіють...» Еще Коцюбинський... Марко Вовчок? Кто еще? Впрочем, мова давала мне радость не столько сама по себе и не столько как повод для свиданий с Лидией Ивановной, сколько как оружие меня как космополита, каким я, небось, был всегда — в поселковом книжном было полно сокровищ: Ремарк, Фолкнер, Сэлинджер, Фицджеральд. На русском их было не достать, а на мове — читай не хочу! Мова открывала окно на Запад, за что ей мое громкое троекратное мерси, ура!

Со вздохом я поставил учебник украинского обратно в расплзшийся по полу неаппетитный портфель... И взял единственно верную безошибочную книгу — математику. И засунул ее поперек, между арматуринами, отметив, что вот, приблизительно такими мы изредка и дрались.

Учебники наши школьные были расположены у расстрельной стенки, и пощады они даже не просили, надежды у них не было никакой и быть не могло.

Мы вернулись к винтовкам, взяли их, набрали патронов, точнее патрончиков, они были как детские жалкие пистолеты против взрослой елды для, к примеру, «калаша». И залегли с ними на жесткие тяжелые маты, притащенные из спортзала.

Через пять минут все было кончено. После тихого лягга и аккуратных шлепков и толчков мы встали и сквозь нежнейший запах сгоревшего пороха пошли обратно к стенке. Со счастливым чувством выполненного долга мы рассматривали то, что осталось от школьных учебников — кусочки картона, труха, обрывки бумажек, пыль... Роскошь! Если б у школьных учебников была печень, мы б ее сожрали, урча от счастья.

— Эх, директора б еще сюда! — мечтательно добавил Славка. — И — мечтать так мечтать — и завуча! Тогда б я знал, что жизнь прожита не зря... — сказал он, прихихиваясь к затвору, затягиваясь пороховой вкусной (когда в мелких дозах) гарью, перед тем как сдать винтовку.

Да, так выпускной. Пили, разумеется, самогонку. Хорошую, не абы какую — а такую, что гонят для себя, крепкую, не очень вонючую, первач же. Когда мы наливали и классная руководительница говорила проникновенный, длинный и бессмысленный тост, полный штампов, наши матери, стоя в сторонке при богатых прическах и в цветастых импортных платьях, слегка пускали слезу, эта леденящая кровь картина так и стоит у меня перед глазами, особенно сейчас, когда они все давно уже умерли.

Мы пили, закусывали, огурцы и сало, и моченый непременно арбуз, котлеты, конечно, селедка, сыр копченый колбасный, колбаса украинская — а какая ж еще могла водиться в тех краях тогда — как бы домашняя, в трехлитровых керамических бочонках, где она была залита еще белым

матовым смальцем, с виду так совершенно сахарным, как бы сладким. Самогонка была теплая, вкус знакомый с детства, его потом мы, некоторые из нас, опознали в попервах экзотическом виски. Отхлебнешь самогонки, ну полстакана, и поверх половину свежего помидора, посыпанного крупной артемовской солью. Это был вкус дома, родины, юности. Он не забывается, он остался и не выветривается. Иногда это накрывает, когда кто-то угостит самогонкой, сделанной не на продажу, а для себя, для родни.

И, значит, сидели мы со Славкой, он начал как-то резво, выпил сразу полный стакан, и стало ясно, что впереди ничего хорошего. Если б стакан и на том остановиться, то еще б и ничего, нормально, вкусно, можно считать, что неплохо отдохнул. Но кто ж остановится, когда народ собрался на большой банкет по уникальному поводу, *life time event* или как там. Остановиться было невозможно. Славка выпил еще полрюмки и заплакал горько, обильно.

— Да что ж такое?

— А ты не видишь?

— И шо ж такое я должен видеть?

— Ее нету.

— Кого? — спросил я, но быстро сам себе и ответил. Понятно было, что речь идет про нашу красавицу Зину. Которую Славка считал своей. Причем в те годы было непонятно, какие должны быть характеристики и гарантии обладания дамой. Целоваться, например, с ней. А то и вовсе залезать ей в какое-нибудь дамское белье. Или просто положить глаз. Или носить ей портфель. Или доставать ее умными разговорами. Или, что было нечасто, речь шла про *full contact*. Всякое бывало, но про что шла речь в том случае, мне было непонятно, информации не хватало, чтоб составить квалифицированное мнение. Накал страданий был таков, будто речь шла про самую полную программу! Чего нельзя было ни исключить, ни наоборот. Хотя, конечно, вряд ли.

— Я убью его!

— Кого?

Ну, понятно кого — счастливого соперника, явного или виртуального. Как же без соперника, раз она не пришла на выпускной. Какие ж еще варианты. Никаких. Она встречала начало взрослой жизни не по-детски, а в полный рост.

Славка размазался по столу, продолжая свои рыдания.

Классная подошла ко мне и сказала, сделав озабоченное лицо с тенью мудрости, какие ставят учителькам в кино:

— Присмотри за ним. Это же твой товарищ, ему трудно.

Видишь, как непросто он входит во взрослую жизнь.

— Дура, — подумал я ласково и совершенно беззлобно.

Ну а то! Чего ж вменяемый человек может ожидать от учительницы? Ремесло обязывает. Оно ж в том, чтоб утешать начальству всякому и чтоб ничего не случилось, чтоб было тихо, пусть кончат школу, а там — хоть трава не расти, *лядь.

Публика пила-закусывала, смеялась над анекдотами, кто-то плясал, некоторые тискали девчат, короче, люди отдыхали. И только я один был как бы пристегнут наручником к Славке, я водил его срать, причем почему-то он делал это в штаны. Водил блевать, и не раз. А после и умыться. И переодевать его в хозяйские треники на голое тело, все ж обоссано.

— Где топор! Дайте мне топор!

— Зачем топор тебе? Ты его облюешь весь.

Хотя чего ж спрашивать, ясно было, что речь про счастливого соперника.

— Я просто-напросто убью его, и все опять будет прекрасно, как было! — тихо орал он после второго или третьего поблёва.

Я не спорил, чего тут спорить. Какая там погоня, далеко б он не ушел, сил не было, я следил только, чтоб не грохнулся головой об угол.

— Но кто это? Скажи хоть.

— Тебе не надо знать.

Ах-ах, сам все придумал и еще вздумал скрывать от меня, будто бы он такой всезнающий.

Так прошла ночь. А там настало и утро взрослой жизни, теплое, южное, густое. Славка упал на старые кожанки в сарае и там спал, пуская слюни. Через год его убило в шахте. Еще лет через 40 я прилетел на похороны отца. Зинка, та самая, тоже помятая и побитая жизнью, как я, неформально, но все ж деликатно всплакнула у гроба. На ней была какая-то богатая пушистая шуба, производящая легкое порнографическое впечатление.

- С чего вдруг ей так пускать слезу? Всего лишь соседка.
- Молодец, приехала. Издалека. Уважила старика! — сказала мне бабушка из соседнего подъезда. — Все-таки они столько лет жили...
- В смысле — жили в одном подъезде?
- Подъезд тут ни при чем. Что ж ты про подъезд. Пока она в школе училась, так они скрывались. А после стали открыто жить.
- Что ж я не знал?
- Ну, сперва тебе не хотели говорить, а после ты уехал, тебе уж стало не до нас тут всех...

Так, значит, я в ту ночь спас жизнь своему отцу, только и всего. Все было очень просто. И — справедливо. У всех праздник, а я дежурил по выпускному. На пост меня определила классная. Я выполнил свой долг, не понимая, в чем он состоит. Я спасал человеку жизнь, скучая и думая, что попусту теряю время, хотя мог бы провести его весело. А так часто бывает в жизни, кстати сказать.

P. S.

Вот от кого мне передалась *лядская жилка, значит. Не от проезжего молодца. А я и не знал. Впрочем, это все про мою молодость, а с возрастом я, разумеется, стал морально устойчивым и сделался примерным семьянином, эх.

предчувствие гражданской войны

*Из книги «Ящик водки», написанной в соавторстве
с Альфредом Кохом*

- ...Деда я похоронил в 92-м.
- А, это который чекист?
- Ну. И бабка говорила — что ж он помер не вовремя, нет бы на два года раньше!
- Типа — не знал бы, что Советский Союз развалился?
- Да нет, она переживала, что мы его хороним как частное лицо. А при советской власти были б речи, знамена, салют...
- Ордена на подушке...
- Типа...

В декабре 92-го помер мой дед Иван Митрич Свиноаренко. Царствие ему небесное. Я очень его уважал с младых ногтей — и это уважение только крепло со временем. Мало я видел настолько прямых людей, которые не сворачивают с выбранной дороги и выполняют задуманное, не поддаваясь искушениям и не отвлекаясь на личное обогащение.

Конечно, мне было бы приятнее, если б мой дед служил у белых и исповедовал либеральные ценности, — но из песни слова не выкинешь. Дед мой в ранней юности вступил сперва в комсомол, а там и в ЧК. Ему казалось, что так он сделает этот мир лучше... С другой стороны, если уж даже граф Алексей Николаевич Толстой пошел служить к крас-

ным и считал себя при этом приличным человеком, то какие ж вопросы к крестьянскому юноше?

Я помню этот небогатый домик на окраине Макеевки, в котором часто бывал. Три комнатки, беленые стены, много — по тогдашним моим понятиям — книг. Полный шкаф. Один, правда, шкаф. В числе книг было собрание сочинений Сталина. И его пресловутый «Краткий курс». И его же портретик, размером с книжку, на стене. В рамке, под стеклом.

Дед обладал весьма редким качеством. Он жил в полном соответствии со своими словами и убеждениями. Вот решил когда-то, что социальная революция необходима, — и стал ее делать лично. После пришел к выводу, что надо бить белых, — и отправился воевать в Красную армию. Никого не посылал вместо себя... Подумал, что надо бить внутреннего врага, — пошел служить в ЧК. После долго вкалывал в шахте. Учился, почти уж стал инженером — это было круто для крестьянского парня, по теперешним меркам это никак не ниже Оксфорда. Что твой МВА. А тут война. Он, московский студент, записался в ополчение и уж ожидал отправки на фронт. Но его по партийной линии завернули и послали на Урал — какая ж война без угля, на тот момент стратегического энергоносителя. И только оттуда, с Урала, ему удалось дезертировать с трудового фронта — на фронт простой, под Ленинград. После, уже старый и хромой с войны, еле ходил — и бесконечно проверял торговлю как общественник, в рядах так называемой парткомиссии. Видно, ему не давала покоя мысль, что рано он ушел из ЧК, не добил контру в свое время. Дед учил меня, что если человек торгует мясом, то он легко и другого человека продаст. Он то и дело цитировал Суворова: интендантов можно сажать без суда и следствия на пять лет, а после судить — и выяснится, что им еще добавить придется.

Чего ж еще удивляться, что я не в восторге от русского капитализма! Что буржуи не вызывают моего восхищения! Вон, какую я школу прошел у красного пулеметчика, харьковского чекиста, макеевского шахтера... Еще пусть мне

скажут спасибо, что я к Зюганову не пошел — при таком-то раскладе.

И вот еще что трогательно. Когда в Перестройку начали печатать все про все, дед это читал, читал... И нашел в себе мужество признать, что взгляд его на мир был не тот. Не стал брызгать слюной и бегать с красным флагом по городу. А признал. Гвозди бы делать из этих людей.

Он прожил долгую жизнь: 91 год. И счастливую. Две войны прошел — а отделался «разве только» тяжелым ранением и инвалидностью, которая, впрочем, позволяла ходить на работу. Пусть даже с палкой ковылять, но ведь на работу же. Дети, внуки, правнуки... Совесть его была абсолютно спокойна! Он всю жизнь делал то, что считал нужным, часто — в условиях реального смертельного риска. Уверенности в своей правоте, как мне кажется, прибавлял ему и его весьма скромный недостаток: вот, не воровал же. Ордена, почет и уважение, свой сад, в котором он посадил тонкие саженцы ореховых деревьев — и дождался от них урожая, мешками его собирал. Посмертное поругание любимого им Сталина, распад империи, которую он строил и защищал в самые драматические ее моменты, распад идеалов — все это пришлось на самый закат его жизни. Нам повезло, что мы свободу увидели в весьма еще молодом возрасте. А ему точно так же повезло, что крушение своих идеалов он увидел уже холодными старческими глазами, стоя на краю могилы. Помнишь, Алик, у тебя был какой-то преподаватель в институте, и ты сказал, что если б все коммунисты были, как он, то и ты б к ним попросился? Та же картина была и с моим дедом. Если б все были в КПСС, как мой дед, я б тоже туда подался.

...Да. Так вот. Я поехал во Внуково, чтоб вылететь на похороны. Но выяснилось, что аэропорт в Донецке закрыт — нету керосина, чтоб отправлять самолеты обратно. Ах да, Союз ведь развалился, настала разруха... Я взял билет до ближайшего аэропорта — до Днепропетровска. Оттуда, думал я, домчусь в момент. Наивность! В пути выяснилось, что Днепропетровск не принимает — метель. Посадили

нас в Кривом Роге. Выходим из самолета... А аэропорт пустой! Ни души! Что так? Нашел я там только одного мента и с него снял показания. Та же причина — керосина нет. А ну, поехали в город! Автобусы не ходят, бензина тоже нет. Вызывай такси, мент! Телефоны отключены. А по рации? Вам же говорят, нету бензина в городе. А ты ментовскую вызывай машину, говорю, я тебе денег дам! (Я думал, что уж как-то решу вопрос, я ж не только отделом преступности тогда командовал, но имел более богатый и глубокий опыт. Когда-то я с одноклассниками попал в неприятную ситуацию. Чтоб решить вопрос, мы скинулись. Честь произвести эту выплату из общака братва доверила мне. Я пошел в отделение милиции и выкупил вещдоки. В общем, я сперва вошел в товарно-денежные отношения с правоохранительными органами, а уж после получил паспорт и начал браться.) Но я зря уговаривал и размахивал деньгами — милицейским машинам давали на сутки по пять литров бензина, на обратный путь бы не хватило.

В задумчивости оглядел я зал аэропорта, в котором нам, возможно, предстояло перезимовать... И увидел странного человека, весь вид которого говорил об одном: этот пассажир в полном отчаянии. Причем вид у него был до того иностранный, что аж смешно. Подхожу к чудаку... Оказалось, это немец, который ни слова не знает по-русски. Что делает его горе еще более безутешным. Пунктом его назначения был как раз этот Кривой Рог! Там его дружки строили дома для наших офицеров, изгнанных из Германии. Немец оказался, в общем, золотой. Я по милицейской рации таки вызвал ему подкрепление с их базы в городе. На этой их машине мы умчались из аэропорта, отбиваясь от десятков желающих отнять у нас дефицитное транспортное средство...

Но это было еще не все. Оказалось, что и поезда с местного вокзала никуда не ходили! Как будто вернулась молодость дорогого мне покойника, со всей той разрухой и мерзостью запустения... Там, на холодном вокзале, в городке, из которого поди еще выберись, да к тому ж он еще

и иностранным стал, я начал понимать, что Москва — не самая выигрышная точка для наблюдения за трагедией — развалом великой империи... Из Москвы этого всего не видно было, этой красоты. Я нанял машину, и двое крайне подозрительных типов в ночи повезли меня в заснеженную степь... Самое смешное, что с нами увязалась симпатичная пара — парень-кооперативщик с красавицей-женой. «Ты уверен, что хочешь путешествовать в таком составе?» — пытался отговорить его я. Но ему надо было скорей к своим ларькам... Я понимал, что шанс добраться до какого-нибудь места, в котором жизнь не утасла окончательно, — такой шанс, хоть он и невелик, у меня есть... И вот в три часа ночи посреди этой снежной степи прогремел как будто одиночный выстрел из «калашников». Этот лопнула камера переднего колеса. Запаску мои бандиты обменяли на пять кило сала еще осенью... Мы грелись, наслаждаясь напоследок теплом, — бензина у нас оставалось всего-то литров десять. Поскольку мы знали, что у других его не было вообще, помощи ждать не приходилось. А на дворе было минус 25.

Но помощь таки пришла — в виде фуры с гуманитарной помощью (слово «помощь» тут ключевое). Фура, вы будете смеяться, остановилась. В глухой степи, среди которой стояли четверо в высшей степени подозрительных мужчин. Дама, которая была с ними, делала картину еще более жуткой. Я уехал с семьей от замороженных кооператоров. А наши бандиты остались. Они долго нам махали вслед. Ржавый «жигуль» — это все, что было в их жизни ценного. Как же его бросить...

Гроб уже опустили в могилу, когда я прибыл на место. Успел я, не успел? Как посмотреть...

Еще из той поездки я запомнил, что рублей в украинских магазинах не брали, обменников не было. Выпить было просто не на что. Я страстно уговаривал соседку продать мне четверть самогона по доллару за поллитру, что по тем временам было страшной щедростью. Соседка слушала меня с подозрением — типа, кому нужны эти странные

зеленые бумажки? Но таки сдалась — скорее потому, что помнила меня мальчиком и просто пожалела. Ладно, подумала, не обеднеет она от одной четверти первача...

Далекие, наивные времена... Как будто 92-й год был пятьдесят лет назад. А не только что.

мир сошел

с ума

— Здравствуй, шурави! — он обнял меня.

— Ну, привет, чего уж там.

— Ты откуда сейчас? Я в курсе, что в Ираке сейчас жарко...

Ты ведь был там?

— Почему ты так думаешь?

— Ладно, можешь не говорить. Все понимаю, я сам в ДШБ служил. Идем в колонне, скорость 40, как всегда в таких случаях. Кандагар. Спецназ он и есть спецназ... Камуфляж привез мне? Как я просил?

— Само собой.

Я достаю военную куртку без знаков различия. Майку с иностранным узором. И — тельняшку.

— Вижу, вижу, это не наше. Чужие какие-то армии. Крылышки какие-то пришиты... Серьезно все, понимаю. У нас почти все можно купить, но такого нету все же.

К нам в гостиную заходит дама в халате. Она хороша собой, в соку, возраст бальзаковский, видно, что она уверена в себе и уж умеет управляться с мужиками, сколько б они ни валяли дурака и ни прикидывались мачо, она насквозь видит нашего брата и презирает его, и даже не считает нужным это скрывать. И вот она говорит:

— Митя, а что ты не хвастаешь, что в самодеятельности участвуешь?

Дальше она для меня уточнила:

— Он и поет, и пляшет, и стихи пишет, и на гитаре. Давай, чего ты?

Он напевает *a capella*:

— Я приснился тебе, Таня
В камуфляже и бандане
На пятнистом БТРе.
Приходи-ка побыстрее...

— Да он почти заслуженный артист! Никого лучше тут
и близко нету.

Митя кивает в сторону дамы:

— Это Рита, заботится обо мне! Она роскошная, поверь.
Да ты и сам видишь...

Он достает из кармана стопку фотографий. Любительские, 10 на 15, плохонькие, но какая разница.

— Это я еще ефрейтор, Ханкала, ВДВ... Писарь при штабе, — помнишь, как в кино «Брат»? Ну или «Брат-2»? А это — рядовой Катко. Капитан Пузановский, голубые береты, морская пехота, — Гданьск. Мойша Рабинович, родом из Харькова. Он, кстати, скоро подойдет. Обещал. Сколько у нас времени? Мы люди военные, понимаем, что такое дисциплина...

— Есть время. Не ссы.

— А помнишь, как ты меня с кичи вытащил?

— Ну, это давно было.

— Я все помню.

Вообще-то я тоже не забыл. Митя сидел тогда в СИЗО, он в поезде повздорил немного с попутчиками, слово за слово, те вызвали ментов, пришли двое, и Митя их обоих отправил на бюллетень, временная нетрудоспособность. Один успел применить «Черемуху», а после такой газовой атаки уже легко надеть на клиента браслеты. С ментами я после разговаривал, убеждал, что лучше все миром решить! Там так получилось, что я ребят убедил-таки. Жалели они только об одном:

— Жалко мы его не застрелили! Нам бы ничего за это не было. Мы б побои сняли, да и погоны, кстати, мы ж не сами себе поотрывали, правильно? Это было унижительно. Обидно. Оскорбительно!

Вопрос было не так уж и сложно решить, в 90-е ментам 100 долларов казались приличной суммой.

Митя смотрит мне в глаза:

- Все ж мы не зря в ВДВ служили. И ты, и я.
- Слушай, не надо про это.
- А ты что, стыдишься? Разве десантура — это не почетно?
- Перестань. Ну сколько можно.
- Мы так редко видимся.
- Тем более.

Он напевает тихо себе под нос:

- *Если вы, нахмурясь,
выйдете из дома...
И улыбка, без сомнения,
вдруг коснется ваших глаз...*

Я так же тихо подпеваю.

Мы поем.

А дальше он без паузы и без перехода:

- *Может, вы хотите
Чая на дорожку
Или же обеда время подошло...*

Это, как я понял, было из самодеятельности.

Митя перестал петь и мечтательно произнес:

- Когда ж мне пенсию дадут!
- Так ты ж, мудила, сам документы порвал! И вот что ж теперь?
- Только песни петь!

И он таки поет:

- *Russian girls and KGB
Russian girls and FBI
Russian girls and CIA
Russian girls and ДШБ...*

Дальше про другое, и получается, грубо говоря, такое по-пурри:

— *Forever! Ростов папа,
Одесса мама, Макеевка бабушка...
А в чистом поле
Система «Град»
За нами Путин
И Кировоград...*

— А что у тебя с пальцами?

Они обожжены ближе к подушечкам. И коричневые.

— А, это? У меня с Афгана привычка докуривать до самого конца. До огня.

И снова песня:

— *Лашате ми кантаре...
Соло итальяно...*

*...Феличита, Феличита
Усі газети і журнали
Перечитав, перечитав.*

*...Напилася я пъяна
Дочка капитана...*

— А теперь поговорим о делах наших скорбных. «А теперь — Горбатый, я сказал — Горбатый». Война войной, а обед по расписанию. В какой бригаде спецназа служили? — спрашивает он меня таким тоном, будто мы впервые видимся.

— Абырвалг, — говорю я скучным голосом.

Он вздыхает, помнит, значит, то старое кино. И меняет тему: пытается прочесть надпись на майке с камуфляжем. Там по-испански.

— Как же, как же... Было у меня два дружка, кубинцы. Они были курсанты военно-политического училища. На дискотеке я их приметил, смотрю, стоят — чернявые такие. Стали видеться иногда, выпивали раз в неделю. По кабакам ходили. Драники, зубровка... Потом как-то

приходят ко мне смурные. Что такое? Да вот, говорят, — в Афган нас посылают, а воевать неохота. А че же вы в военные тогда пошли? Ну как, паек, зарплата... А потом контакты оборвались.

- А щас там хлеб по карточкам. На Кубе. Или в Кубе?
- Как так — по карточкам?
- Да какие и у нас были до 1947-го. Кубинцы привыкли. Им нравится, наверное. Раз молчат.

Митя напевает:

- *Мы бандитто, пистолетто и ножетто...*

Спев, рассказывает истории.

- Кстати, у нас тут есть магазин «Дон». Не Тихий Дон, а дон — как дон, мафиозо. Так его хозяин служил в танковых войсках. А щас в бегах, завалил кого-то. В ходе конфликта был спор хозяйственных субъектов. Понимаешь, да? А Дегтяревых помнишь? Ну, два брата? У них была бригада. Из спортсменов бывших, как мы любим. Покупают на Нахаловке стволы, «ГТ» стоит 1500 гривен, копейки. Знаешь, чем они занимались? Трасса Одесса — Харьков, люди везли шмотки, так эти спортсмены бывшие останавливали автобусы, заходили, забирали кэш, шмотки, кольца. Лет пять их не могли поймать. Но взяли наконец. На Плехановском. Это центр города, оттуда идут автобусы на все шахты. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я.

- Каким парадом?
- Пардон, мы будем беседовать — или ты меня будешь перебивать?

Я молчу, лень спорить. Да и чего тут выпоришь? Лучше послушаю...

- Чтоб попасть на хорошую шахту, на хороший участок — 1000 баксов надо дать...

И дальше снова песня, просто концерт.

— Кавалергарда век недолог...

Крест деревянный иль железный...

Не обещайте деве юной вы ни Париж ни Кандагар...

— У меня ни семьи, ни друзей...

— Это жизнь.

— Я хочу найти женщину непьющую, красивую, и родить детей...

— Да у тебя и так же где-то дети... Или думаешь, что это перевернутая страница? Что проще новых наделать?

— Я уж перестал звонить туда. Мне сказали: «У ребенка будет нормальный отец, а ты можешь не писать и не звонить».

Тема таки скользкая. Жесткая. Суровая. Но он первый начал! Ну а что, с другой стороны — вот найдет себе дуру, и что ей помешает с ним связаться? Станет звонить ей, может, даже по межгороду, или вовсе по международному, стихи будет шпарить наизусть. Она и сомлеет. Ах-ах.

— Если бегут на тебя кавказцы, надо кричать — Аллах акбар! А если свои — то падать и говорить: «Ради Христа, не трогайте». Шаолинь — это отдельная тема. Как говорили у нас в Самборе: «А ти, москалику, вже приїхав».

— Какой я тебе, нах, москалик...

— Так говорили бандеровцы. А что сделал Янук? Отменил указ Ющенко, что Шухевич — герой Украины. Значит, так, о чем мы?

— Да хер его знает...

— А, вспомнил! Перша бригада протиповітряної оборони, радіотехнічні війська. Третя лінія захисту... 26 кілометрів від польського кордону. Языки изучаем! Я в классе восьмом кинулся украинский язык учить...

— А зачем? Ты знал, что будет незалежность?

— Ты не понимаешь! Наш язык — самый мелодичный в мире! Ну после итальянского. Мы не материмся, водку не жрем... Киев — мать городов русских... У меня была мечта объехать все славянские страны и на всех славянских языках прочесть Библию. Не все удалось, но что-то

получилось... Ты ж помнишь — Белоруссия, Украина, Польша... Вот писали, что за годы незалежности Украина заняла первое место в мире по коррупции.

— Да ладно!

— И по детскому алкоголизму, и пятое — по распространению туберкулеза. Два года назад на Украине была армия 200 тысяч, и МВД-СБУ — еще 200 тысяч. Каждый десятый два года назад стоял под ружьем, опа! Когда я про это говорю, меня перебивают — стоп, не грузи. Західенці — у них там свое, а Донбасс к России тяготеет... Вот у меня есть знакомая, так у нее мать 28 лет учителем проработала а пенсия — 800 гривен... Как жить?

— У меня нет сокровенного знания. Я не знаю, как жить.

— Нас просто поставили раком! Взрывы мне какие-то слышны... Этот мир устроен несправедливо... Наш родной язык — русский! Не перебивай меня, я минуту просил! Вижу — менты заходят и несут коробку марихуаны... Я читаю статьи и смотрю новости! Понимаешь, все всё видят. Мир сошел с ума. Короче! Я просил минуту! У меня есть подруга, ее зовут Марфа, она росла с нами... Она успела посидеть. Потом стала наркоманкой и босиком ушла в монастырь... Потом в Барселону. А после вернулась и устроилась санитаркой в дурку. В России воруют, а уж тут! А почему до сих пор не уничтожены баллистические ракеты? О чем мы беседовали? Ты знаешь, что пенсии задерживают? Каждую неделю чернобыльцы и афганцы штурмуют областную администрацию... 400 тысяч под ружьем! У всех синдром, кто воевал. Вот мой дружок десантник, афганец, — так он после войны попал в Донецке в дурдом. Не поверишь!

Он помолчал и сказал про важное:

— Говорят, на шахте «Три-пять» открыли посольство немецкое... Будем брать! Аллах акбар.

— Гм... Ну, пойду я. Мне еще на кладбище надо заехать, перед поездом. Привет передать там?

— Какой привет на кладбище?

В самом деле... Дурацкая шутка.

Мы попрощались. Я уходил и думал:

— Вот она, юдоль скорби! Один день в Макеевке заменяет ящик водки — по разрушительному воздействию. Особенно когда посещаешь близкого человека на Бажанова. Тут самый знаменитый в округе дурдом... И вот после этого — вы жалуетесь на бытовые проблемы, что мало денег и девушки вас не любят! После дурдома смешно слышать эти жалобы. Ну, так не объяснишь же никому.

Если б это все было летом 2014-го. А то ж беседа имела место весной 2013-го, мирного беспечного года. Ну вот, *лядь, как Митя увидел будущее? Откуда узнал про скандал с мовами? Про штурм областной администрации? Про аэромобильную бригаду, которой название исказилось в бреду? Про моду на камуфляж, которая завоюет Юго-Восток? Что за бред про военные подвиги? Он в армии служил, но не в десанте, а в тихом безмятежном ПВО, в украинской деревне, уж какой там Афган. Безумие — великая вещь все-таки... А, может, все пророки имели тяжелые диагнозы? И других провидцев не было и быть не могло? Просто раньше не было же массового здравоохранения. И никто не мог понять, в чем дело. Думали: вот, чудо. А чудес не бывает же.

Мы похоронили его летом 13-го.

На кладбище пришло человек десять. Когда сносит крышу, человек как бы немного умирает. С каждым годом болезни — все больше и больше. И заметно, что он не совсем живой, кстати, и с зеками что-то похожее, не зря говорят, что тюрьма стоит на полпути к кладбищу, дурдома это тоже касается, я думаю. Человек еще вроде есть, его тело в нашем мире, но уж с ним не поговорить толком, не выпить, ну вот можно разве что спеть. Песни выскакивают из подсознания, умом это все не понять, а настроение — что ж настроение, оно и у кошки может быть, какое-то, и меняется непонятно от чего.

Все дежурно стояли у гроба, терпели, переминались с ноги на ногу, в рамках приличий не слишком комкали и без того урезанный обряд. Когда уж все было, вроде, кон-

чено, и подошли два загорелых парня с веревками, чтоб уж опустить гроб поближе к преисподней, по узкому проходу между оградками подбежала молодая девка, блондинка, с открытым растерянным лицом. Лицо было хорошее. Она остановилась у гроба, положила куда-то в него желтый жидкий букет, нагнулась и поцеловала покойного в губы так, будто он был жив.

Мне кто-то шепнул:

— Она, ну это, того. Лежала с Митей. В смысле в дурке.

— Как — лежала? В мужском отделении, что ли?

— Ну нет, конечно. Но на прогулки во двор их же выпускали. Они прохаживались тут под яблонями и про что-то говорили. И всем рассказывает, что она его жена.

— О Господи.

После в кафе на мини-поминках «вдова» выпила кружку пива, встала и громко рассказала:

— Это не он сошел с ума! Это мир сошел с ума.

Наверное, это была хорошая пара. Но смерть разлучила их.

СИРОТА

В ДУРДОМЕ

Можно вообразить место печальнее психбольницы.

Да, это реально, — но выбор будет не очень богатый.

И вот как-то меня занесло в, как говорится, дурку. Врачи не любят, когда так называют серьезные медицинские учреждения, но тем не менее. И тут, может, больше не пофигизма, не цинизма, не предосудительного презрения к убогим, — но черного юмора, который иногда осветляет слишком мрачные картинки и дает кому-то силы, чтоб не свалиться в совсем уж плохую депрессию.

Занесло меня не всерьез, не как пациента, а как в песне — «на братана да на психов посмотреть». Я навещал близкого человека. Впрочем, каждый раз такие вещи невольно примеряешь на себя. Кто ж застрахован! Да никто. В том-то и беда, в том-то и ужас. Вот бегал человек куда-то, беспокоился из-за, допустим, денег. Карьеры. Жалел себя, что так и не удосужился слетать в Новую Зеландию. Какие-то книжки лихорадочно листал, чтоб где-то блеснуть цитатой и сойти за сильно умного. Вдруг — ррраз! — и все эти его проблемы, из-за которых он не спал ночами и переживал, в момент решаются. И уж их нету, нету ни одной. И не помер, а вот он, вроде такой же, как был, а все разговоры закончены. Этакий оборотень перед тобой, а может зомби, ну, короче, что-то из фильмов ужасов, когда волосы встают дыбом. Он! Вроде он. Не, не он... А чего от него ждать? Да чего угодно. Он уже ушел от нас. Но так ушел, что одна нога тут, а другая уже там.

Неприятно думать, что от любого может остаться всего лишь его как бы чучело, которое может ходить и разговаривать, а настоящей разумной жизни в теле уже нет. Это

как Марс. Есть ли на нем жизнь? Бактерии какие-то могут найтись. Но разумных марсиан вряд ли мы встретим. Жизнь, может, и есть, — но разве это жизнь?

Короче, ужас-ужас. Не того мы боимся, эх!

И вот у запертой железной двери, — мало ли чего ждать! — стоял я в ожидании, пока отопрут. Надо ждать. Может, у них там перерыв на обед. А может, аврал какой. Восстание, к примеру. Восстановление справедливости в этом мире. Или их Наполеон решил сжечь город... Всяко у них там бывает! Ждать там не утомительно, напротив — оттягиваешь даже момент входа. По-любому же это психотравма.

У двери стояли еще двое. Один — парень в районе 30, явно пациент, сразу видно, хотя ни пижамы на нем, ни халата больничного, они там щас в штатском ходят, не в казенном. А может, все же посетитель? Нет. Но выдавали его не шлепанцы даже затрапезные, и даже не глаза, в которых как-то уж слишком мало было контроля над мясной стороной человеческой натуры. Выдавало его другое: жадность и торопливость, с которой он поедал сосиски, доставая из одну за другой из прозрачного пакета. Как будто боялся, что отнимут. Ну натурально — не будет посетитель вот так давиться сосисками, не голодомор на дворе, в самом деле.

Рядом с ним стояла дама, то ли свежая пенсионерка, то ли только еще пока мечтающая уйти от дел. Дешевая кофта, старые туфли, но и несколько щегольской цветной платок на шее, навевающий мысли о стюардессах *Air France* — вполне возможно, учительница. Библиотекарша. Она смотрела на едока сосисок с печалью и даже с набегающей на глаза слезой, ну а че ж тут веселого. Навскидку это были мать с сыном, хотя, впрочем, мало ли какие у них могли быть связи и отношения.

Я все ждал, глядя на них краем глаза.

Парень после четвертой сосиски решил передохнуть и стал говорить:

— Мама, спасибо, что ты пришла.

— Ага! — подумал я. — Таки решение самое простое... Вот они кто друг другу.

— Спасибо, не забываешь! — сказал еще он и кинул жадный взгляд на кошелку, которая висела у нее на сгибе руки. Там еще предполагалось съестное. — Мама, не думай — я все отработаю! Я тебя не забуду! Вот выйду отсюда и разбогатею...

Он не стал объяснять, как — ничего про работу или бизнес. Про выигрыш в лотерею. В дурке про это не надо, подробности только все портят. Должны быть простые схемы.

Она отвечала ему что-то, утешала, но вяло, — ну а как, не всерьез же комментировать бред. Про сказочное богатство ни с того ни с сего. Это, впрочем, часть русской матрицы; кто такой, собственно, Иванушка-дурачок? Тогда просто не было психбольниц, и он жил на воле.

Дама вздыхала, кивала, смахивала слезу. Потом дверь открыли с той стороны и забрали парня внутрь.

Она, наконец, посмотрела на меня:

— Он думает, что я его мать...

— Дааа? А на самом деле как?

— Мать его умерла. А я — соседка. Знала, что сын ее тут, я его помню, когда еще он младенец был. Ну и пришла как-то с передачей, тут же известно как кормят. А он мне сразу: мама, мама... Я ему объясняла, а он не понимает. Ну вот и хожу к нему иногда.

Так вот это — удивительный пример самого чистого гуманизма. Совершенно абстрактного. Когда и человек, которому помогаешь, — тебе чужой. И ты ему, мало того что никто, так он тебя в упор не видит и испытывает благодарность не к тебе — это ему и в голову не приходило — а совершенно к другому человеку. Которого вообще уже нет на свете. И никому ничего не зачтется — ни вам, ни ей, ни ему. Никто ничего не заметит. Вот я узнал правду, но и от этого никакого толка: ни имен, ни адресов.

Все зря. Все — зря?

Нас при прошлом режиме учили, что абстрактный гуманизм — это плохо. Но не все верили казенной пропаганде. Многие люди жили и живут так, будто никогда не читали официоза. И им казалось — хотя они и слов таких не знали — что не так уж он и плох, гуманизм этот абстрактный. А не всему надо верить, что в газетах пишут.

ДЕД И ВНУЧКА

Модная девочка-тинейджер приехала в провинцию, на родину предков, на Донбасс. Почти взрослая, вполне уже наглая, она решила поговорить за жизнь со своим дедом, которого видит редко и мало что про него понимает. Он жил в другом мире, полном чужой южной экзотики, дикой степной романтики и казенной партийной тоски.

После всех этих «о, привет, привет, как ты выросла, ну проходи же, щас я чай поставлю» и проч. — она взялась за расспросы:

— Дед! Ну что ты вот помнишь про свою жизнь? Там, небось, столько интересного! Восьмой десяток все ж тебе. Расскажи!

— Та шо рассказывать? Ничего такого особенного и не было.

— Из детства что-нибудь помнишь? Давай начнем с рождения!

— Родился я вот тут недалеко, во-о-он там, шахта Ново-Калиново.

Он взмахивает рукой в сторону балкона, через открытую дверь далеко видно. Там степь, бедные избушки, сарай, еще — многоэтажки, и терриконы: один, другой, третий...

— Шахта та уже давно отработана и закрыта. Так вот там, напротив большого террикона, жили мои предки, там я и родился. А на Бажанова — это в ту сторону — я проработал и прожил почти 40 лет. Там я получил квартиру, когда был молодым специалистом, вон оно в чем дело. Теперь живу здесь... Это треугольник: одна шахта — другая — и этот дом. А туда прямо вперед — кладбище, во-о-н, где двуглавый террикон. Это и будет мое последнее пристанище. Когда жена померла, меня спрашивает это бюро похоронное — а себе какое вы кладбище выбираете? Конечно, это, что поближе, его с балкона видно.

А оттуда, с кладбища, видны окна моего дома. Я сюда вселился в каком году? Уж не помню. Там старый дом начал трещать, разваливаться, ну нас и переселили...

Хочу я, не хочу, а меня с полгода преследует песня: «В степи под Херсоном высокие травы, В степи под Херсоном курган, Железняк-партизан...» Так и крутилась в голове! Я чуть с ума не сошел, так на психику действовало... Потом вроде прошло. А там же на Бажанова — школа, ее тоже видно, там дети учились мои. Поначалу я их отводил-забирал, а потом они сами... На собрания родительские я редко ходил. А шо ходить? Кому надо б ходить, тот как раз не ходит. Я как понял, что детей моих хвалят и в пример ставят, так и перестал ходить.

Туда, на Бажанова — она тогда называлась Бутовка Глубокая, — я получил направление как молодой специалист. Учился я в городе Сталино, я окончил Донецкий ордена Красного Знамени индустриальный институт имени Хрущева. Сейчас это Политехническая академия...

— А че ты в Донецке не остался?

— Так сюда ж меня направили. К тому ж тут родители, родня, шо там в этом Донецке делать? Тут, тут мой дом. Треугольник, и вон мое кладбище. Конечно, у меня там была квартира старого образца, три двадцать потолки, хорошие три комнаты, изолированные. А как дом начал трещать, его сперва долго ремонтировали, оказалось — зря, и тогда нас сюда переселили. Так я долго тут чувствовал, что потолок давит, после той квартиры. С полгода ходил, мучился — куда я попал? Потом привык, нормально. Я эту хватуру получил на семью из двух человек: дети-то выросли и разъехались. И потом начали на меня капать соседи. Как же, тут семья из двух человек в двухкомнатной, а они там вчетвером тоже в двух! Они так ставили вопрос, что кому-то я вроде что-то дал. Один мудака говорил про меня: «Как же так, его отец живет в трехкомнатной, они уж с бабкой вдвоем остались. У старшего сына (это про моего брата) — четырехкомнатная. А этот живет один, имеет двухкомнатную». Ко-

роче, все мы перенасыщены жилплощадью, и меня надо чуть ли не выселять... — я с ним хотел разобраться, но он пропал, сгинул.

Комиссии ко мне ходили и прочее... В итоге меня вызвали в комиссию при горсовете — по распределению жилплощади. Туда накапали... Люди же завистливые. Я пришел, а председателем оказался мой старый приятель и сослуживец. Зашел я к нему, посидели, побеседовали. Я вернулся оттуда домой и сказал соседям: «Идите к едрене фене!» Они и отвалили.

Ну и позже были претенденты. И невест мне подсылали — дескать, один, надо им заняться...

— Дед, а сейчас ты ни в кого не влюбляешься?

— Да уж какой там — влюбляться?

— А последняя твоя любовь? Кто же — последняя?

Он молчит. Она его укоряет:

— Даже не помнишь!

Он таки начинает отвечать, после паузы, в которую, видно, осторожно подгонял картинку под молодую девушку:

— Ну, я не святой, но и не бабник. Были у меня знакомые...

Роман мог длиться и полгода, и год. Самый длинный был более 10 лет...

— А почему вы с ней больше не вместе?

— Время ж идет! Она перевербовалась в другую разведку, более молодую. Я считаю, что выдал ее замуж. Отношения у нас теперь дружеские. Я к ним захожу, они ко мне заходят... Она баба ничего... Хорошая...

— Скажи, а какое у тебя было самое яркое событие в жизни?

— А?

— Ну что ты помнишь? Чего не можешь забыть?

— Пошел в первый класс, закончил десятый класс, поступил в институт...

— Это неинтересно. Это у всех так!

— Трудно про это... На этот вопрос невозможно ответить!

— Ну почему же? Рождение ребенка, например.

— Да шо тут рассказывать? Жизнь была тяжелая. Бывало, до того подземная служба забодает, что по месяцу рабо-

таешь без выходных. Ночные смены... Идти надо, ползти надо...

- А ты что там делал? Уголь рубил?
- Рубили люди. И комбайны. А я ж был ИТР.
- Конкретно — что ты делал?
- Это называлось — организация производства в смене.
- Что, ходил в шахту и строил всех?
- Что-то вроде. Горный мастер должен быть в шахте каждый день. Замначальника участка — два-три раза в неделю. Начальник участка — мог себе позволить не чаще раза в неделю. Поскольку у него большой объем работы. Ночные смены... Идти надо, ползти надо, пласт 0,5—0,6.
- Что — ноль пять?
- Ну полметра, значит. Угольный пласт. Малой мощности.
- Полметра! И ты туда заползал?
- Это ж работа. Полметра — а если еще прижмет? Донбасс же жмет... Бывало, и забой обрежет... Ползешь по лаве, и вдруг раз — прижало. Так приходилось снимать каску и пропихивать ее вперед, со светильником, и на пузе как-то проползать вперед. В каске не пролезешь. Помню, до того был замотанный, что иногда родную мать проклинал: ё. т. м., что ж ты в 32-м году аборт не сделала? От так было... Упасть бы — а идти надо, ползти надо... Надо ж организовать все, чтоб выполнить наряд. Выполнить план. Все работы — взрывные и прочие — это работа горного мастера. И так и шло: наработался — отоспался. Вот уходит в отпуск нормальный человек, так он развлекается. А когда подземный работник в отпуске, так он минимум трое суток спит, отсыпается. А то и пять суток. Я в отпуск обычно дикарем ездил, на юг. И вот я как приехал на море — и упал. Сплю. По-спал, потом поднялся, пошел шо-то съел. Опять упал. Проснулся к обеду — пошел шо-то съел, а то и выпил, пива или рюмку водки — и снова упал. Спал, чтоб прийти в нормальное состояние. Изнурительна подземная работа! Но зато я себе заработал пенсию, мне ее начислили в 50 лет. Список номер 1, а так-то в 60 лет на пен-

- сию. Мне 120 рублей назначили, и можно было сразу уйти. А если остаешься, то — оклад и половину пенсии...
- А какая у тебя была мечта? Чего ты хотел, когда был маленький?
- Кончай издеваться! Какая мечта? Жрать я хотел... Я был рахитом. 1933-го года я рождения, тогда даже в Донбассе был голод. Так-то крестьяне бежали сюда из деревень, потому что тут паек выдавали. А в 33-м — и тут был голод! Даже тут! Так, значит, это — мать голодная, я не знал, что такое материнское молоко. Меня жвачкой кормили.
- А жвачка из чего?
- Хлеба шматок. В марлю его... И мне давали. Рахит, ножки тоненькие, я до двух лет не ходил пешком. Ползал, меня водили-носили. И вот, наконец, я говорю: «Мамо, я пішов!» Вроде пошел — и споткнулся, упал, через пузо перевалился — и мордой об пол.
- Это как в новостях показывают детей голодных, в Африке? Такой ты был?
- Да... Я был как в новостях... Только белый. [Кстати, я еще в прошлом веке, начав ездить в Африку, увидел там много на нас похожего и это описал, да. — И. С.]
- И что, все дети в семье такие были?
- Нет... Старший брат — 26-го года, младший — 36-го, сестра — 30-го, они не застали такого. А на мою долю выпали те два года голода, с 33-го по 35-й. Потом стало легче, начал я отъедаться, — а там война!
- Ты войну хорошо помнишь?
- Как же не помнить. Я пошел в сентябре в первый класс, а немцы пришли в октябре, это 41-й. И мы тогда переселились к материным родителям, у них была хата из самана построенная, на 24-й линии. В самом начале какие-то немцы зашли к нам в дом.
- И вы их пустили?
- А как же их не пустишь. Зашли, осмотрелись — и забрали у нас патефон. И пластинки унесли.
- Зачем им советские?

- Ну как, девок звать наших, танцевать и прочее. И еще стол забрали, большой такой крепкий стол. Это они все поставили в доме напротив, там открылось кабаре, они там веселились.
- А на каком основании они все забрали?
- На таком, что им это понравилось. Зашли и взяли, что им надо.
- И что, так все и пропало?
- Нет! Когда пришли наши, так мать пошла и забрала наши вещи из того немецкого кабаре. Стол еще долго стоял в родительском доме. Ты еще успела за ним посидеть...
- Как вообще немцы обращались с вами?
- Пренебрежительно, презрительно, жестко. Были *SD*, в коричневом. Увидишь, идет немец в коричневом пиджаке, с повязкой — красная, белый круг и от это, крест, свастика. Как увидим — сразу разбегались! А *SS* — те были в черном, все под два метра ростом, отборные, и такая будка, морда, в смысле, и череп с костями, кокарда такая, глянешь — и бежишь, страшно же! А еще были в лягушечьей зеленой форме, и тут бляха на груди. Это страшное дело! Помню, мы от таких фашистов прятались. И еще были просто солдаты, Вермахт, так они нормальные люди. Бывало, кто и конфетку даст, погладит по голове. Они же рабочие, не фашисты! Нормальные мужики, хорошие... Много у кого эти солдаты по квартирам стояли. И у нас тоже. У них бывала передышка, зашли в город — и остаются на два месяца или на три. Эти ушли — пришли другие... А иногда возвращались те, что у нас стояли раньше. Кто и с перебитыми ногами. — Ну шо?
- Это немцы так говорили — «шо»?
- Та не, это наши бабы их так спрашивали. Да вот, говорит, сапоги порезаны, нога в гипсе. «А як Ганс?» Та убили его. «А отой, Фриц?» В плен попал... Как-то они объяснялись.
- А в семье вы на каком языке говорили?

- На суржике. Это смесь русского с украинским. Не чисто украинский. Напівхохлача мова. Не разговаривали, а балакали. А в школе — треба руську мову... Бывало, скажешь шо-нибудь на суржике, — и одноклассники как начнут смеяться! Они на русском многие говорили... Ну что ты у меня как бы интервью берешь, как у этого, как его? Давай лучше вина выпьем.
- Да подожди ты с вином. Расскажи еще! Вот про немцев.
- Среди немецких солдат были приличные люди, не фашисты. А еще ж были у них союзники — итальянцы. Мы видели, что они люди безобидные, подневольные.
- Как, и они тоже у вас были?
- Были! Я их помню. Такие убогие, зачуханные, обшмарканные, в обшморганной одежде... И голодные! Немцы — обжирались, а итальянцев похуже кормили, и они ходили по домам побираться. Бывало, в дверь тук-тук, бабка открывает, а там итальянец, жалкий такой: «Матка!» И руку протягивает. Так им давали хлеба! А если немец открывал дверь, итальянец убежал! Аж спотыкался. А то ж морду набьет ему немец.
- Какой ужас!
- Ужас, да...
- Долго немцы были? А как освобождали, помнишь?
- Ну а как же! Немцы пришли в октябре 41-го. А ушли их...
- Выгнали.
- Да, выгнали. В сентябре... 43-го. Два года с гаком они стояли.
- А как их выгнали?
- А хрен знает, как. Самолеты налетали, бомбежки были всякие — ну это наши. Не поймешь, шо к чему. Стреляют из-за углов... Немцы отходят — и отстреливаются. А наши, значит, наступают. Мы тогда попрятались. Такой случай был. Уже немцы ушли, они же были под городом Сталино, это сейчас Донецк. Пол-Донецка наши взяли, а пол-Донецка у фашистов. И вот моя мать сидит с соседками на улице. И мы где-то там крутились.

И летит фокке-фульф, самолет-разведчик такой, рама — ну ты его видела в кино.

— Гм, может быть...

— Ну, два их, фюзеляжа. На низкой высоте шел самолет, изучал обстановку. И какой-то мудака, наш пехотинец, — ба-бах из винтовки! Раз, другой, третий. Немец развернулся — и ушел. И тут наш капитан, он с бабами что-то обсуждал, говорит: «Так, народ, прячьтесь! Сейчас будет не дай Бог что. Налет скоро начнется». А до войны нас всех заставили убежища вырыть во дворах, яма и перекрытие из бревен. Лучше чем ничего. Мы все быстро туда, каждый к себе во двор. И вот прошло минут десять — как налетела штурмовая авиация!

— Немецкая?

— Ну да. Когда все кончилось, мы вылезли, смотрим — а вся улица усеяна осколками. А другой мудака перед самым налетом еще пустил панику, что, мол, немцы наступают. И обозники наши как кинулись бежать! Лошадей погоняют, а те медленно идут, они ж в наступлении жирные (а в отступлении кожа да кости). И разбомбили немцы весь этот обоз. Потом, когда все утихло, тех, кто бежал от немцев, — везли на телегах, на тачках. Трупы. Кто с головой, кто без головы...

— И ты видел все?

— Ну да. Я живой свидетель. Обозников куча погибла. И лошадей много было убито. А они, я ж говорю, такие упитанные, жирные... Кой-какие мужики у нас во дворах оставались, так они пошли туда с топорами, с ножами и принесли по мешку конины. А у нас была кукуруза. Так мы наварили той кукурузы с кониной, о-о-о! Неделю обжирались! Я тогда впервые ее попробовал, конину, так она ж вкусная, а с кукурузой — и вовсе деликатес! Кукуруза — это был у нас основной продукт питания. Потом на юге, когда продавали вареную кукурузу, все на нее кидались. А мне она неинтересна, ребята, я ее нажрался с 41-го по 47-й год в голодовку! В 47-м только отменили карточки на хлеб. И стали без карточек про-

давать, хоть две, хоть три буханки бери. Так я в первый день, как карточки отменили, — выстоял в очереди полдня. Взял три буханки, кирпичики, под мышки, штаны подтянул — вообще чуть с меня их не содрали, такая давка была в очереди! И, пока шел полкилометра до дома, так сожрал целую буханку хлеба. Не дай бог... А то жрали мы кукурузную кашу с гарбузом.

— С арбузом?

— Не, гарбуз — это тыква. Очень вкусно было, кукуруза с тыквой, особенно когда жрать охота.

— Когда жрать хочется, то все съешь.

— Про это и солдат Швейк говорил... Ты читала про него книжку? Ярослав Гашек написал.

— Нет.

— Я б тебе дал, была у меня эта книга, но кто-то украл. Лучшие книжки у меня все украли. Например, вот из Пушкина ПСС тот том, где про царя Никиту и его 40 дочерей. И Куприна том, где «Яма», про публичный дом. Так вот, в книжке Гашека, там поручик Лукаш, а он был бабник и пьяница, — спрашивает Швейка: «Вы любое мое приказание выполните?» А тот: так точно, господин поручик! «Ну, а если я тебе прикажу съесть мое говно?» Так точно, съем, только чтоб там шерсти не было, а то я брезгливый.

— Ха-ха. Не смешно.

— Ну это не я выдумал. А то, было, заставляли немцы некоторых говно есть насильно.

— Кошмар.

— Очень большой кошмар. Но пора б уже и вина выпить, а?

— Дед, подожди же! Расскажи еще про любовь. Когда у тебя была первая любовь?

— Первая любовь не ржавеет.

— А кто это было? Когда?

— Не помню.

— А про бабушку расскажи, — как ты в нее влюбился?

— Ну как — познакомился...

- Почему ты влюбился в нее?
- Во ты даешь... Общение, под ручку, потом туда, потом сюда... Она в мединституте училась, а я в этом... в горном.
- Вы познакомились в Донецке?
- Ну да. Мы, значит, в мединститут ходили на вечера. Вот. А там же мальчиков единицы были.
- А у вас девочек не было!
- Были. Мало. Но у нас как было? Самые отсталые ребята ходили в пединститут, там девки с деревни... А такие, как я — более развитые, передовые, — ходили в мед. Там девки более интеллектуальные и прочее. Так вот, значит, вечера эти у них... Я там однажды произвел фурор. У меня ж мундир был студенческий, нашего института, пиджак и штаны с синими полосками. На пиджаке — квадратные эполеты, черного бархата, с синей окантовкой, а на бархате буквы: «ДИИ».
- А что это значит?
- Донецкий индустриальный институт. Всего-навсего.
- Это из-за костюма фурор?
- Из-за того что я туда проник. Как идешь на вечер в мед, если на вахте девка стоит — пропускает нас, красавцев в мундирах. А когда ребята — так тормозили нас, они нас ненавидели, мы ж баб у них отбивали. И вот — не пускают нас! Я говорю — мне надо на свидание, я обещал, меня там ждет девушка. Не слушают. И тут вижу — комсорг мединститута, Байда, а он из Макеевки, мы с ним были знакомы вскользь. Он меня пропустил. Неохотно, правда, но пустил. И я захожу в зал... Девки офигели: такие репрессии, и я вдруг прошел!
- А это с кем было свидание, с бабушкой?
- Та я уже не помню. Да это и не важно. Байда, он потом занимал большие посты в комсомоле...
- Так что бабушка, как вы с ней? Ты не рассказываешь!
- Ну — как, как? Где-то это, где-то то...
- А чем она тебе понравилась? Вот увидел ты ее — и... И что?

- Господи, чем, чем понравилась... А хрен его знает, чем вы нравитесь! Получилось, что мы, значит, закрутили любо-о-овь...
- Она была не первая из мединститута? С кем ты любовь крутил?
- В каком смысле?
- Ну вот ходил в мед на вечера...
- Не, ну у меня же... это... были знакомые девушки и до того. Из мединститута...
- Много было?
- Та нет... Несколько штук. Они там однажды чуть не подрались...
- Из-за тебя?
- Ну а из-за кого? Хе-хе-хе... С одной сажу рядом в зале в ихнем актовом. Другая сидит сзади, а еще одна — впереди. Та, что впереди, поворачивается и говорит: «Здравствуй, Вася! А ты как сюда попал?» Та просто шел мимо и зашел. Которая рядом — спрашивает: «А кто это?» Да это моя соседка. Третья говорит: «Брешет он, это его старая любовь». Я тогда сказал: я пошел! И поехал к себе домой. В общежитие.
- А бабушка?
- Так она ж там была одна из этих трех. Я с ней сидел рядом, впереди — Люська, а сзади — еще одна.
- И как она стерпела это?
- А это их дело.
- Почему ты именно ее выбрал из трех?
- А откуда я знаю? Время идет, туда-сюда смотришь, та отвалила, ту уволили, а с этой — получилось. И так далее и так далее. Так что видишь — это жизнь! Когда-то я гарцевал... Были и мы рысаками. А теперь — силы меня покинули.
- Надо зарядку делать.
- Так вон у меня гантели стоят!
- А почему они такие пыльные? Не делаешь ты никакую зарядку.
- Отстань. Идем уж теперь вина выпьем, наконец.

Они пошли на кухню и там выпили вина, и съели борща, который сварил дед, по своему особому рецепту, без буряка, то есть без свеклы. Что ж это за борщ такой? Ну уж какой был. Он как бы такой пограничный был, и не борщ, и не щи, суржик типа. Дед выпил, закусил и сразу прилег на диван у телевизора, и по аристократическому обычаю устроил себе послеобеденный сон. Внучка же уехала через день и после снова появилась в тех краях через год или два, прилетела на похороны, до восьмидесяти дед не дотянул. Поскольку преставиться он успел до войны, то похоронили его по-людски, как положено — даже с поминками в кафе. А не как некоторых после, когда Гиркин пришел и начались артобстрелы...

ДИРЕКТОР

ШКОЛЫ ЖИЗНИ

Знакомый директор школы получил от ахметовских грант и на него построил в своем маленьком донецком поселке спортплощадку. Турники, тренажеры, сваренные из труб. Лавки. Я, оказавшись в тех краях проездом — сам оттуда, — заехал с ним повидаться.

Забыл сказать, это было перед войной, в последнюю мирную осень — в сентябре 2013-го.

Сижу на площадке, жду. И вот на скутере, что для директора школы немного неожиданно, подъезжает подтянутый дядя, типаж Амосова. Ну я его, конечно, поздравил! В тяжелые времена — ах, какими они тогда казались тяжелыми! — вот человек что-то построил для детей, надо же.

— А кто ж ходит сюда? — спрашиваю.

— Детей много. И взрослые ходят. Женщины в основном — они побегают, а потом идут сюда заниматься...

— Не сломали ничего там? Женщины тяжелые бывают.

— Бывает, расшатают, ломают, а мы после подправляем — и все в порядке.

— У вас тут дамы весомые, поди еще стройную найди... Может, не пускать толстушек, пусть только дети занимаются?

— Нет, нет! Хай все идут. С детьми, без детей... Оно ж как? Это как в американском варианте, после работы занимаются рабочие. Но чаще — дети, конечно.

— А вы сами-то занимаетесь?

— Сам в свои 60 — уже не сильно... А внука — вожу! Вон там — баскетбольная площадка у нас, видите? Асфальтированная! Я ж говорю — как американский вариант.

Тут же прохаживается некий казак. Интересно — настоящий или так? (Задним числом это тем более интересно.) Оказалось — охранник, из частной компании. Охраняет школу. А еще ведет кружок казаков, ах ну да, «козацького роду».

Директор 25 лет тут командует. И отец его директором был! Другой, правда, школы. А дети не стали продолжать. Что так?

— А, наверное, потому, что раньше директор школы — это была элита, это близко к вершине социальной пирамиды! Не как теперь... — пытаюсь угадать я.

— Ну да, в последнее время просто немножко изменилась жизнь. Изменились ценности... На словах все заботятся об учителях. Но молодежь нынешняя знает, что зарплата директора — как у технички...

«Техничка» — это на суржике значит «уборщица».

— Ушла наша социальная обеспеченность! Нету нормальной заработной платы для учителей... Не бегут молодые в профессию... Такие реалии нашей жизни. К глубокому сожалению... Сказать, что я обижен на государство? Нет! Я вот могу похвастаться — чем?

Мы заходим в школу, у себя в кабинете достает из шкафа бумагу, дает мне, я читаю: «Присвоїти почесне звання «Заслужений вчитель України»...

— Ну, — говорю я, — видите, все-таки есть какое-то уважение к учителям!

— Так я ж не говорю, что его нету... В принципе, есть уважение учеников. Есть уважение тех людей, которые живут в поселке... Они меня знают как человека, который растил их детей.

— Престиж профессии, да, упал...

— Тогда не было такого разрыва, явно видного, в достатке семей. Если говорить откровенно, в те годы и первый секретарь горкома партии, и директор завода — жили в более-менее скромных условиях... Люди не видели слишком великой разницы между ними. Что — зарплата? Были в стране другие ценности, люди уважали гра-

моту. [Наверное, он хотел сказать — образование? Все же на юге люди немного иначе говорят на русском. — И. С.] И считали: мы тебе дали грамоту, это очень важно, потому что...

— Почему?

— Ну... Если ты начальник цеха, то ненамного твоя жизнь отличалась от рабочей. Потом, когда мы перешли к капитализму... — дальше его голос делается все грустней и грустней, — ...то мы как-то забыли о медиках и учителях. В социальной сфере и в плане пенсий. Пенсия маленькая у нас, педагогов! А сейчас же молодежь все меряет деньгами. Они нам сочувствуют — ну «блаженные» эти учителя! В былые времена от Горно каждый год по человек 10—15 приходило новых, молодых учителей. А сейчас — нету... Я уж не говорю про то, что при царе-батюшке директор был статским советником. Дворянином!

Я начинаю директора как бы утешать, а на самом деле огорчаю. Но хотел как лучше!

— Образование — это самое главное в государстве! Школьный учитель — он вообще определяет: какой будет страна? Может научить детей честно работать и приносить пользу не только себе. Или возьмет да научит: «Знаешь, сынок — когда враг нападет, так ты отруби себе указательный палец, чтоб тебя не взяли на фронт, и будешь тушенку воровать на складе, в тылу, и покрывать баб, которые остались, — мужья ж на фронте. Вот так надо жить!» Как учитель научит — так и будет! Правильно?

— Я согласен с вами... В принципе часть народа, конечно, детям пытается объяснять все правильно... Но в глазах любого парня семнадцати-восемнадцати лет, еще не сформировавшегося, учитель — это, по нынешней жизни, неудачник. Который ничего лучшего себе не нашел, кроме как на вот эту зарплату сидеть в классе...

— Вы ему что-то рассказываете возвышенное, а он так вроде и смотрит, кивает, а сам думает: «Если ты такой умный, почему у тебя денег нету?»

— Да: «Что ж ты вот так вот живешь?»

- «Покажи, на чем ты едешь! Где твой Мерседес?» А вы говорите: «Ну, вот у меня скутер. Я езжу на нем...» Да?
 - Скутер — вещь хорошая...
 - Вы ему только это и можете сказать: «Скутер — это хорошая вещь».
 - А какая сейчас мораль у большинства? Национализм начинает корни пускать не в лучшем своем проявлении, а, извините меня, в худшем! Свастикку надели и начинают прутьями некоторые молотить в Киеве! А раньше тот же Устав Коммунистической партии — он ведь от нынешних заповедей Господних отличался только формулировками. По смыслу-то он не отличался! Там и «не укради...»
 - Соблюдай субботу. Да, как же, как же...
 - Там были нормальные правила игры. Нормальные, соответствующие этому. И была философия: тебя в пионеры возьмут, если ты ведешь себя хорошо... Какие-то правила соблюдаешь — и тебя возьмут.
 - Так, а сейчас что? Ну-ка сформулируйте!
 - А сейчас ни фиги не осталось! Убрали мораль. Воспитания морали как таковой на государственном уровне — это признают все — в общем-то, нет!
- Я деликатно спорю, то есть обмениваюсь мнениями с симпатичным умным человеком:
- Когда объявили: «Отменяется советская власть, социализм, коммунистическая идеология!», никто же не пошел на баррикады с вилами, не сказал: «Как вы смеете поднимать руку на народное государство, на государство рабочих и крестьян!» Люди пожали плечами и сказали: «Да и хер с ним». Правильно? Так было?
 - Тут еще вопрос спорный — хорошо ли, когда бегают на баррикады? [Мы прямо-таки пробрасывались в будущее, там нам что-то открывалось, а, небось, витало же в воздухе. Идея баррикад, например... — И. С.] Сейчас на них бегают за деньги, что скрывать. Все бегает за деньги, на халяву там борцов нет сейчас. Все зарабатывают деньги, кто стоит на баррикадах.

- Ну не знаю... Это ваше мнение.
 - Мое мнение. Я даже знаю, за что сколько платят. В Киве за Юлию Владимировну — 200 гривен в день. Люди приезжают, посменно стоят — и все нормально.
 - Неплохо по здешним меркам!
 - Так нормально ж зарабатывают!
 - Ездят отсюда? За Юлю?
 - Нет, мои за других ездили. Я просто про Юлю говорю.
 - А за Виктора Федоровича?
 - Когда надо было, и за Виктора Федоровича.
 - И тоже ставка одна, 200 гривен в день?
- Он не уточняет. Зачем мне, приезжему, знать. Вот про Юлю он сказал, так она ж чужая, а Янук — свой, местный, пробился. Не надо болтать.
- Ездили, когда были выборы, Оранжевая революция — неважно, как она и кем сделана, по каким технологиям. Но тогда, когда было вот это противостояние, тогда народ искренне шел голосовать, — все, даже бабушки! Вот тогда был настоящий такой гражданского сознания взлет! Причем все, даже хромые, на костылях, в дождь, в снег: «Я приползу, я проголосую!» Дальше все опять перешло на спокойные ряды. Кстати, американцы к этому приучают и по сегодняшний день: то, что сказал президент, это правильно. Президент сказал — Ирак надо бомбить! — и люди говорят, что это хорошо. Президент сказал — этих надо наказывать! — и американцы кричат: да-да-да-да-да, мы наказываем всех, кого надо.
 - Но почему ж они это делают?
 - Потому что они верят, что государство говорит правду.
 - Ну, наверное, важно и то, что Америке, в отличие от Украины, президента ставит не Москва, пипл его сам выбирает. Ты за него голосовал — так вот иди тогда и слушайся его! А если он тебе не нравится, следующего выбирай!
 - Может быть...
 - И вот что сегодня? Поневоле вы участвуете в общем духовном потоке страны. «Где деньги — там правда и сча-

сть. Где нет денег — это лузеры, мы им не доверяем!» Так что же, школа воспитывает людей, которые за деньги сделают все? Получается, так! На что мы надеемся? На то, что дома кто-то что-то объяснит? В армии? Я давно про это не думал, а вы вот меня завели... Ладно я — работаю со взрослыми, а их уже не перевоспитать, хоть кол на голове теши — уже поздно. А вы воспитываете людей без будущего. Которые живут только для денег. Так получается? Какую мы увидим страну через 20 лет?! Скажите мне! Я буду вас слушать очень внимательно.

- Посмотрев телевизор, почитав газетку, послушав папу с мамой, которые там что-то рассказали — не рассказали, дитё приходит ко мне. И я ему начинаю рассказывать, что мы ж тут не продаемся, мы ж хорошие, и ты же должен быть правильным! А он говорит: «Да вы посмотрите, что пишет дядя в газете! Что успешный, вон, Вася — который трахнул вон ту и эту... Вот он на джипе ездит и он — молодец. И надо жить вон так и вон так, потому что пресса пишет, что вон как все замечательно происходит». Поэтому пресса... Цензура, не цензура, как угодно... Но пока в Америке встают, когда играет гимн, прикладывают руку к сердцу, — они с уважением к этому всему относятся. [Вот, вот! Да, кстати, мы в России тоже с удивлением смотрим, как граждане Украины поют свой гимн с чувством и не по бумажке... — И. С.] А наши голые девочки сейчас бегают везде и флагом вытирают все, что угодно... Но надо ж уважать президента, неважно, какого... [Меня, кстати, тоже вот так учили в школе, в советской, — уважать начальство, любое. Так, так... — И. С.] У них в фильмах во всех американец спасает мир... И пресса там пишет, что американец спасает мир, американец всегда прав. А у нас хохол — в наших фильмах, в нашей прессе — всегда дерьмо, всегда в дерьме! И после этого вы хотите...
- Ну, в Америке в Конституции прописано право народа на восстание. Они если видят, что куда-то президент идет не туда... Что с ним делают?

- Да ничего с ним не делают!
- Его из винтовочки «корректируют»! Поправляют! Пулей в лоб! Или из дерринджера. И президент в Америке знает, что если он что-то сделает не так — застрелят его нахер сограждане. И полицейский имеет достойную зарплату, он не пойдет бандитом.
- Я понимаю. Тут не надо перегибать палку... В Германии, например, Адольф Гитлер платить в трамвае научил, расстреляв «зайцев». И люди платят.
- А у нас сколько народу расстреляли — непонятно зачем, никакого положительного результата.
- С чего все начинается? — рассказывает он. Я слушаю внимательно, я об этом, кстати, предупреждал. — Играется государственный гимн — я стою перед детьми, я прикладываю руку к груди — и вся школа, за полтора года — за два, научилась, стала прикладывать руку к груди. Можно относиться как угодно к стране, но ты в ней живешь, и твоя страна — это твоя семья. Это я говорю выпускникам. Страна состоит из семьи каждого. А не из дяди-президента и дяди-депутата Верховного Совета. Вот твоя семья — вот это и страна. Моя семья — это моя страна, и она вот так вот состоит из нас, из людей. Когда они уходят, я им всегда говорю, что я очень верю в то — я и по сегодняшний день верю! — что когда-то начнут деньги платить за мозги, а не по связям. Что когда-то тот, кто способный, будет нормально зарабатывать. Что когда-то в нашей жизни будут заботиться о стариках, будут помнить об этом. И каждый из них, каждый, должен в первую очередь помнить о своей матери. И как он относится к своей матери, к своим старикам, так будет относиться к другим людям...
- Когда вы рассказываете все это и пытаетесь что-то объяснить детям — у вас нет нормативного документа, что отвечать детям, когда они спрашивают: «А че ты нас учишь? Если ты такой умный, почему у тебя нет денег? Ты хочешь, чтобы мы были как ты и жили в нищете?» Вот у вас никакой нормативный документ не дает вам

ответа на этот вопрос. Так ведь? Вы не знаете, что сказать детям. Вы только можете сказать: «Дети, будет светлое будущее. Когда-нибудь в стране все наладится». Только так?

- На сегодняшний момент в принципе, кроме обещаний, пока ничего толком нет. Но все обещают...
- То есть вот школа — она определяет, какой будет страна. Вы им тут говорите какие-то слова и учите прикладывать руку к сердцу. А дети видят кругом другое. Они не знают, каким будет будущее. И нам нечего сказать, нечего.
- Не надо так пессимистично — что уже совсем нечего...
- «Бедных никто не слушает». Есть такая мудрая мысль.
- Не надо бы про это писать... И еще вот про что не надо печатать: мы пытаемся в Евросоюз вступить и в этот, как его, в Таможенный союз, а нельзя одной и той же попой сидеть на встречных поездах.
- Ну если только пополам распилим, — пытаюсь я найти выход, завершить наш разговор на мажорной ноте. — Распилить пополам, одна половина едет в Россию, другая — на Запад.

Короче, смешно теперь это перечитывать. Мы вроде говорили про что-то абстрактное, далекое от реальных забот, шутовали, шутили — а как будто обсуждали кем-то заранее написанный сценарий. В котором про деньги слишком много, и про платные выборы, и про нищету учителей... А про то, как жить честно и как детям что-то объяснить про ценности, — это каждый сам на ходу изобретает. Что делать? Скопировать у американцев пение гимна без бумаги? И все?

Хотя, с другой стороны, не так уж это и мало...

ученый казак из макеевки

Осенью 2014-го на Львовском форуме издателей (та же книжная ярмарка, только вид сбоку) я встретил старого знакомого. Родного человека с Донбасса. Или, как сейчас модно писать, с Дамбаса.

Форум — это не совсем и не только стенды и умные трезвые разговоры, но и — неформальное общение. И вот сижу я как-то вечером в музее Сала (привет его основателю Борису Бергеру!), пью водку с поэтом Сашей Кабановым, который мне даже не однофамилец, про закуску вы уже угадали...

И — подходит человек.

— Узнаешь? — спрашивает он.

Как ни странно, я его узнал, хотя этак тридцать лет мы не виделись и даже не переписывались. Лицо, в общем, запоминающееся.

— Дима, это ты?

— Вот, вот! Это слава! — счастливым голосом воскликнул украинский издатель N, пардон, забыл его фамилию. —

Мой автор, Дмитро Билый давно приобрел международную известность!

И это была чистая правда, я-то прилетел во Львов из Москвы.

Дима был мне совершенно не чужой человек. Мы оба росли в Макеевке, его мать, ныне, увы, покойная, Мария Тимофеевна, была директором детсада, куда я имел честь ходить и который вывел меня в люди. Семьи наши дружили, мы ходили друг к другу в гости. С Димой я дружить не мог, он-то меня на 10 лет младше, пропасть между нами.

Но я давал ему мудрые советы, которым он, хватило ж ребенку ума, не стал следовать. Самый мой умный совет был такой: идти на журфак, который я и сам закончил. Ну а что еще я мог сказать школьному выпускнику, который любит читать и даже писать? Мальчик пошел на исторический, в Донецкий университет. Чтоб совсем коротко, Билый его закончил и давно уже не то что кандидат, а и вовсе доктор наук. Плюс к этому написал с полдюжины книг, которые, говорят, добрались до библиотеки Конгресса США, — это исторические фэнтези про казаков, и автора поклонники иногда называют украинским Толкиеном, о как.

Неплохо для начала, совсем неплохо.

Кто-то скажет, что с таким бэкграундом нечего делать в сегодняшнем Донбассе — и будет прав. Дима с началом войны с семьей перебрался во Львов, где занимается и наукой, и литературой, — а еще учит рукопашному бою украинских резервистов, будучи старым каратистом.

Мы поговорили о жизни, правда, как-то комкано, ввиду цейтнота, а потом, позже, списались.

Не знаю, как вам, а мне жизнь Димы Билого показалась весьма интересной. А то же как — люди говорят или про войну с политикой, или про умное, далекое от жизни, довольно часто. А чтоб и умный, и образованный, и с опытом жизни по обе стороны фронта, и из науки, и из силовиков одновременно (он ко всему прочему еще и майор милиции в отставке) — все-таки редкость, это удивительная позиция, с которой не то что простреливается, но уж точно видно много всего разного...

Надо сразу сказать уж совсем определенно — сам факт боевой подготовки говорит о чем-то, но не обо всем — про его отношение к военным действиям на Донбассе: АТО надо было с самого начала вести жестче, наступать, а не обороняться.

Обычно в такие дебаты встречаются гопники, мы к этому привыкли, а чтоб ученый, остепененный грамотный человек давал аргументы, — такое нечасто бывает с началом проекта «Новороссия».

Наука Билого с самого начала не была голой теорией, куда ж без политики в 94-м-то году да в Донецке. В кандидатской диссертации шла речь и о «тотальном уничтожении украинского народа на Кубани». Тогда как раз шли дебаты — был Голодомор или нет? Если был, то можно его назвать геноцидом или лучше не надо, какие-то другие формулировки найти? Власти предлагали выражать мысли канцелярскими терминами, чтоб получалось нейтрально, деликатно. Я помню, как роскошно русские казенные политики журили президента Ющенко:

— Ну и чего ты носишься со своим Голодомором? Ах, люди погибли, ах, траур! Ужас-ужас! При чем тут геноцид украинцев? Да у нас на Кубани тоже миллионы погибли от голода в те же годы, ну и что нам теперь, тоже ныть и скорбеть?

Это было сильно по ряду причин, среди прочего еще и потому, что кубанские казаки — потомки запорожцев, высленных из Сечи.

Дима часто рассказывает про то, что он из кубанских казаков и помнит станицу, откуда его родители. Он там бывал и застал настоящий казачий быт, людей, которые учились казачеству не по кинокомедиям — они выросли в среде! Но при этом Билый тонко замечает:

— Хоча — козацтво створювало й свій власний пародійний образ, існувала сміхова карнавальна культура українського козацтва.

Я решил это не переводить, — на кой? Дело не только в лени; небось, и так все понятно.

Вообще про то, кто ж такие казаки, спорят много и часто, особенно иногородние, кто не в теме. И тут кстати будет рассказ Билого про то, как он заговорил со станичниками-краеведами в Краснодарском архиве, где те тоже копались в документах. Они как раз обедали, разложив на газетке хлеб, сало и помидоры. Узнав, что наш историк из Донецка, отвечали холодно и на русском. И только сообщив, что он свой — стали с ним «балакать по-кубанськи». Ну, грубо говоря, на мове. (Это я для тех, кто не в курсе.)

По оценкам Билого, если б он был чужой, не их, они б ответили так:

— Да где там, да что ты, да мы ж русские.

Доверчивые русские, многие, считают казаков русскими...

В продолжение модной, особенно сейчас, темы, что и украинцев нет никаких, это просто неправильные русские.

И вот он стал ездить к кубанцам уже как свой. Слушал там их рассказы. Информация была экзотическая:

— В школах були написи: «Разговаривать на диалекте запрещено!». Мені розповідали, що вчителі били лінійкою по губах, коли хтось заговорив українською.

Но это так, присказка. А вот не хотите ли:

— Колись на Кубані за бандуру до Сибіру висилали.

И это не предел:

— А за знайдений «Кобзар» могли розстріляти всю родину.

Здесь я только уточню, что «родина» — это семья.

Это некоторым странным образом перекликается с рассказом Роднянского, бывшего украинского телемагната, про то, что в 80-е годы в Киеве выгоняли из вузов студентов, которые приходили к памятнику Шевченко в день рождения поэта. А за что? Как за что, за украинский национализм.

Я, кстати, здесь не про то, кто прав, кто виноват и кого казнить, я в данном случае совсем про другое: никто ничего не забыл. И, возможно, не простил, тем более что извинений никаких ни за что и не было, даже формальных.

А вот про украинизацию будущих ДНР и ЛНР, неожиданно:

«От Ющенко свого часу намагався українізувати Донбас. Закликав: «Думай по-українськи! Будь українцем!», пропагував тему Голодомору, героїв, святкування. Я не против, але якби та влада, яка позиціонує себе як українська, провела декриміналізацію Донбасу, навела порядок, знищила

корупцію, щоб усі побачили, що Україна — це не просто абстракція, Україна — це реальна сила, то тоді б ставлення до мови й усього українського змінилося принципово... Але цього не сталося».

(Переведу тут два слова, и хватит с вас. «Святкування» — празднование, от «свято» — праздник. «Знищила» — уничтожила.)

Ахаха, как говорится. И снова вспоминаются Роднянский и его товарищи по институту, которые далеко не все были украинцами, но из диссидентских или, по крайней мере, фрондерских побуждений говорили между собой на мове. Александр Ефимыч ее, кстати, хорошо знает. Вообще же, каждый язык — часть культуры, пусть будет, я даже за права латышского вступался, на котором знаю от силы 50 слов.

Закончу изящной цитатой из Билого:

«З 18—19 років уже свідомо казав: я — кубанський казак. Не росіянин, не українець, а кубанець. Лише потім, почавши вивчати історію, усвідомив, що це спільний етнос з українцями. Там розмовляють «балачкою» — місцевою говіркою, вона — українська. Водночас, офіційна мова — російська. Люди знають, що їхні предки з України. Казати, що вони «руськіє» — не можуть, бо «москалів» там досі недолюблюють. Ця регіональна ідентичність є. Ми ніби й росіяни, але водночас і відрізняємось суттєво, маємо іншу історію, культуру, мову, традиції. Ототожнювати себе з людиною в косоворотці і з балалайкою кубанці не хочуть».

А вот вам мысли Билого про Кубань, и заодно, чтоб два раза не вставать, про украинизацию/русификацию:

«У 1920-х хотіли або створити українську автономію у складі Росії, або приєднатися до України. Адже перепис 1926 року засвідчив, що на Кубані більшість становлять саме українці. Але територіальні зміни робити боялися.

По-перше, в Москві усвідомлювали, що Кубань у 1920-х, як і «материкова» Україна, — центр антибільшовицького руху. Були тисячі повстанців і агітаторів проти радянської влади. Деякі ж станиці, як, наприклад, Уманську та Полтавську, у повному складі виселили до Сибіру за «петлюрівські» настрої. Ясно, що приєднання Кубані до УРСР лише посилило б цей рух. По-друге, це було б досягненням націонал-комуністів в Україні, чого Сталін не міг допустити. І, по-третє, приєднання Кубані, або навіть створення української автономії на Північному Кавказі, закривало Росії вихід до Чорного моря».

Еще по нацвопросу. Который сейчас кругом. Меня он, честно говоря, мало волнует, а Билого — занимает. Каждому свое, всякий живет тем, что ему интересно! Вот вам такой тезис Билого: «Приблизно 25% Донбасу — галичани за походженням». Ого! Да откуда ж они там взялись? В таких количествах? Вот объяснение:

«В 1945 році в Донецьку мешкало 100—150 тисяч осіб, а в 1976 році — мільйон. Звідки взяли решта 900 тисяч, крім природного приросту? По-перше, населення Донбасу — це, як правило, нащадки підконвойних, яких привозили туди працювати в шахти під конвоем, або ті, які втікали туди не від хорошого життя... Так от, у 1940-х на Західній Україні влаштовували облави, під час гаївок, наприклад, хапали молодь і в вагонах везли на Донбас. Чимало цих молодих людей вчинило самогубство — здебільшого кидалися в шахту: не будемо працювати — і все. Але більшість працювала, звісно.

Інше джерело мігрантів із Західної України — жертви депортацій з Лемківщини [а також із Західної Бойківщини. — *Ред.*], наслідок угод про обмін населенням з урядом Польської Народної Республіки. І третє — були й такі, що приїжджали на Донбас добровільно, з наміром заховатися від МГБ, загубитися серед населення. А ще — колишні бійці УПА, яким після звільнення з ув'язнення не дозволяли повертатися на батьківщину.

Колись я брав участь в етнографічній експедиції, збирали вишиванки... І нам казали, що отам і там живуть западенці, вони ще вишивають, а ми — не. Вони досі мешкають компактно, наприклад, — Октябрське, Козацьке Новоазовського району Донецької області — на 90% лемки [а також західні бойки. — *Ред.*], Званівка під Артемівськом. Зрештою, там майже в кожному селі існує квартал, де мешкають вихідці з Західної України. Їх просто привезли поїздом, висадили в степу — ось ваша нова батьківщина, облаштовуйтеся, як можете... І вони прижилися, намагаючись зберегти свої звичаї й традиції <...> Переселенців із Західної України чимало. Ще такий приклад — ЯКХЗ, Ясиновський коксохімічний завод. У народі його називали «Бандери», бо там у посольку — одному з найбільших у Макіївці — мешкали майже виключно вихідці з Західної України. Коли 1990 року ми зробили вертеп, ходили, співали — і тут раптом чоловік назустріч, розплакався. «30 років не чув коляди», — каже. Виявилося, що він з Тернопільщини, грошей дав. Жінка його російськомовна ледве відтягнула його від нас. Так він і пішов з сльозами на очах. Тобто галичани приховували свої почуття, але іноді це проривалося».

P. S.

Как жизнь раскидывает людей, а? Мы росли с Билым в одном шахтерском поселке, ходили в один детсад... Оба из казаков, — у меня дед по материнской линии из кубанских станичников. Но как-то я ушел в космополиты, о чем не жалею, а Билый — смотрите, увлеченный патриот Украины, вот, кует кадры для АТО. Встретившись, мы разговариваем ровно и спокойно, вручаем друг другу свои книги... И дальше: кому хуже от того, что я ни на какой стороне не воюю — ни за Киев, ни за ДНР? Не сбиваю самолеты, не пускаю поезда под откос, не допрашиваю пленных с пристрастием, не устраиваю припадков в прямом эфире? И другим этого всего не советую? Сам удивляюсь, почему мне ни одна из сторон не дала орден за какие-нибудь заслу-

ги, немалые причем. Если б все, как я, боролись за мир, *он бы был!* И никто б его не сокрушил. Тут надо уточнить, политкорректности ради: поскольку у меня русский паспорт, первой меня должна наградить РФ. А уж потом Украина.

ДНР может, кстати, тоже поучаствовать, представить меня к награде.

анатолий макаров: знаю я донбасс!

Беседа за жизнь

(Воспоминания о довоенной Украине)

Толя Макаров — крепкий писатель, когда-то даже и очень модный. Он прогремел в 1974 году в журнале «Юность» повестью «Человек с аккордеоном». Ее переиздавали, переводили, экранизировали (Досталь), ставили в театре (под названием «Беспечный гражданин»). И вот мы с ним как-то случайно встретились в ЦДЛ, сразу пошли в буфет, и разговор зашел про Донбасс, который на слуху и обоим нам не чужой...

- Много я ездил по Украине. Помню, был я в замечательном городе рядом с Каховкой — Никополь такой, на Каховском море... — начал Макаров.
- «Каховка, Каховка, родная винтовка...» Песня мирных ополченцев. Тогдашних.
- Скадовск, Голая Пристань — такие места прекрасные. Был я и в Херсоне. Очень хороший город. Хер-сон. Необычайной красоты.
- Этимология не выяснена.
- Херсонес в Греции есть же. Хер-со-нес.
- А почему — «Хер»? Откуда тут наше, родное?

- ...а это же Юг, а там же люди гостеприимные у нас. Ну, конечно, по линии выпивки... Помню, я, еще молодой был журналист... С агитбригадой мы выступать ездили. За город Чугуев мы заехали.
- До этого города доплыл не только ты, но и известный топор по реке...
- И вот абсолютно впервые попал в народную украинскую пьянку. Это было совершенно как в фильме «Волк и пес», помнишь?
- Или, ближе к телу, «Свадьба в Малиновке».
- Потому что там, значит, после выступления накрыт стол. По-простому. Такие гуси-водки стоят, значит. И еще как на флоте — картошка вместе с мясом. Огурцы, помидоры, зимние — соленое все. И там норма — стакан водки, это как рюмка. Норма!

Рюмочку налили. То есть стакан. Тост произнесли, значит, разливают. Потом опять. Великолепно! А также однажды я попал в село Шляховая Житомирского района, где поселили в доме для гостей. И вот просыпаюсь часов в семь. «Анатолий Сергеевич, надо позавтракать...» Я выхожу, а там уже борщ и вот такая четверть. С горилкой. Ну а как же — с самой Москвы человек приехал! Борщ, кстати, потрясающий. Я говорю: «Ребята, спасибо! Водку не буду. Ну как пить в шесть утра?» — «Понемножку».

Я вообще проехал всю Украину. В Макеевке бывал... В шахту лазал в Донбассе. Очень глубокие там шахты! Я полез, потому что писал про горноспасателей. Народ замечательный!

Про Макеевку, помню, я разговаривал с Авдеенко, знаменитым писателем, он оттуда как раз. Он был старый писатель советский. Его перед войной, в 30-е, чуть не расстреляли. А после войны он написал первый советский приключенческий роман, про пограничников — «Над Тисой». Заработал он денег, купил дом в Переделкино — и уже никуда вообще не совался. Дружил с Катаевым... Мы с Авдеенко встретились в Коктебеле, в 70-е, он поехал туда в Дом пи-

сателей. После «Тисы» он написал роман «Я люблю». Этот про то, как он работал на строительстве Магнитки.

— А чего он поехал из Макеевки на Магнитку? Шило на мыло менять...

— Ну, по каким-то идейным соображениям.

— «Я люблю» — что? Это была любовь к Родине?

— Имелось в виду строительство, партия, Родина социалистическая. Он был абсолютно рабочий парень.

— Баб там не было? В книге?

— Были, были. Но нельзя не признать, что мастера пропаганды советские — они совсем не глупые были в то время. Они тогда сделали один великий роман («Как закалялась сталь»), но то было про гражданскую войну... И вот пропагандисты организовали бригаду талантливых литераторов, журналистов, и те работали с Островским, они ему «помогли», как это называлось, — а на самом деле они что-то свое вписывали там в больших количествах, а его тексты редактировали.

— Негры такие литературные.

— Ну да. Но это были известные люди. Известные! Роман «Как закалялась сталь» во многом «помогал» делать великий журналист Виктор Кин. Он был знаменит и работал в «Комсомолке». Расстреляли его в 39-м. А потом было решено сделать еще одну громкую книгу — но уже про мирное строительство. «Я люблю». И вот этот роман Александра Остаповича Авдеенко издали огромным тиражом. И тут же стали переводить, это был еще 1935 год, левая интеллигенция поддерживала Союз на Западе. То есть, я думаю, что они, западники, честно перевели — не надо было их заставлять, ничего такого, он и так рады были.

— А как ты эту книжку макеевского классика оцениваешь?

— Ну что, это был рабочий человек, и в этом смысле все честно. Магнитка и героизм там — все-таки это не липа и не конъюнктура.

— Пропаганда все же, небось...

— Ну да, пропаганда, но — талантливая и искренняя.

- А он, правда, писать не умел раньше?
- Ну, как обычный графоман, как рабкор какой-нибудь он писал. Но партия решила его продвигать! Так же, как Николая Островского.
- Но это по постановлениям сделали — или просто намеки были?
- Продвигали его открыто. Вышла книжка — дали ему квартиру в Макеевке. Сперва. А потом и в Москве! В районе Кировской, Большой Вузовский переулок, не знаю, как сейчас называется. Самый центр! В доме с энкавэдэшниками. Дали машину — «Эмку». Потом вызывает его Ягода и говорит, что надо поехать на строительство канала «Москва — Волга».
- Ну а как? Книжку издали и пропиарили, дали квартиру, машину, надо продолжать. Работал социальный лифт!
- Да, он прекрасно работал, этот лифт — для тех, кого на нем решили поднять... И он — поехал, куда послал Ягода, на канал. Его, кстати, даже одели как чекиста.
- А зачем?
- Чтобы ему сподручней было изучать жизнь.
- А, чтобы его пускали везде...
- Он в перестройку успел об этом написать... Прожил сильно за 80 лет. У него была очень красивая жена, похожа на Симону Синьоре. Там же много красавиц, на Юге.
- Казачка? С турецкой кровью?
- Да. И вот он, когда в 1939-м был освободительный поход на Украину и в Белоруссию...
- Красивое название — «освободительный поход»! На уровне термина «вежливые люди»!..
- Алексей Толстой оттуда, из этого похода, много всего привез — он пол-Львова скупил там, мебель панскую привез. Но эти ребята молодые, как Авдеенко — у них не было такого размаха, они просто приоделись.
- Шуба? Опять «Свадьба в Малиновке»!
- И шуба, и прочее — все-таки Львов был большой европейский город.
- Лемберг. *Lemberg city*.

— Ребят там приоделись: магазины работали, советские деньги там принимали. Мне Каплер рассказывал, как он в Черновицах...

— О, Каплер! Гражданский «зять» Сталина!

— И вот в Черновицах, как во всех европейских городах, есть площадь Рынок. И он пошел туда часы себе посмотреть, и старый еврей-часовщик говорит: «О, пан из России приехал?» (А тот же в форме, все понятно). «Что там у вас за порядок — всех сажать?» Еврей-часовщик.

(Смеемся).

Авдеенко еще совершил ошибку. Когда его вызвали в Кремль... Он написал сценарий про молодежь, про то, что комсомольский вождь оказался троцкистом. Это на материале советской современной жизни 37—38 годов, название — «Закон жизни». Киношники сразу стали заманивать этих ребят! Бабки очень большие давали! Сразу сняли фильм и показали. Режиссер — Столпер, который потом по Симонову снимал фильм. И вот вдруг выходит статья — то ли в «Правде», то ли в «Известиях» — что фильм ошибочный. И вызывают их всех в Кремль. А Авдеенко еще молодой был, фраер, пижон, и он оделся в то, что купил во Львове. Сашка, его сын, иногда говорил, уже в 70-х даже: «Вот я завтра надену пиджак, который отец купил в Польше в 30-х годах». Приличный костюм был, хорошо сшитый, поляки всегда шили хорошо. И — замшевые ботинки, которые вообще никто в Советском Союзе не носил. Бежевые причем. И Катаев, тоже стилига, нарядился — их никто не предупредил! А Сталин это ненавидел, когда люди модно одевались. Он и Светлане этого не разрешал.

— Импортные тряпки, как так! Разложение!

— Да, импортные вещи. Это был 39-й или 40-й. И вот Авдеенко пришел во всем этом. Сталин его увидел... А Фадеев все-таки своих писателей хотел отмазать, стал их защищать, — видимо, он был человек все-таки неплохой, — пьянь, ходок большой... Поэтому он таким мерзавцем не был. Он старался, когда можно, своих отмазывать. И он сказал тогда: «Иосиф Виссарионович, вы

абсолютно правы! Но все-таки это кино, и нельзя все претензии предъявлять одному писателю — там же есть режиссер!» Но Сталин сказал, что он знает, кто такие режиссеры. Но писатель — самый главный все равно. И Авдеенко, по-моему, сразу выселили из этой квартиры... Если б война не началась, думаю, его могли б еще и посадить.

- Да, да, если б война не началась и он бы не пошел на фронт, — могло бы случиться худшее: его бы посадили. Вот война — это спасение!
- А после войны, когда он вернулся, он все еще боялся. Ну а как, представляешь, когда тебя в Кремле чехвостят, вождь лично! И вот Авдеенко написал советский роман про пограничников, который в «Пионерке» печатался.
- А пограничники были какие?
- На Западной Украине. «Над Тисой» же, говорю.
- Он туда ездил материал собирать?
- Ездил, конечно.
- Кстати, эта книжка везде была на Украине, название знакомое, — во всех домах. «Над Тисой». Я, правда, не читал.
- После войны ему разрешили это написать — нужно было приключенческое что-то. Фильм — опять — был, огромные тиражи, переводы. Очень хорошо заплатили! И он как макеевский, народный человек выкупил тогда свою дачу в Переделкино. Писатели-то — интеллигенты, дураки — до этого не додумались и жили на казенных. А он — выкупил. Заплатил, и это уже была его собственность. Видимо, такое народное чувство у него было, — мало ли что может случиться. У него два сына, он решил — пусть это будет наследство нормальное. (А то некоторым же только пожизненно давали там дачи, а наследников после выселяли.)
- Мне не давали просто ничего, а то бы я тоже как-то приватизировал...
- И вот он сидел там, в Переделкино, и никуда, ни на какие собрания не ездил.

— Мы как-то пропустили войну.

— Попал он туда рядовым красноармейцем. Пытался выжить как-то. Надеялся после восстановиться в правах. Ведь бывали случаи, когда людей уже исключили из партии, отовсюду, и он уже ждет концовки — все... И вдруг — кого-то восстанавливают! Я думаю, что все они пытались отмазаться. И тут — война. Первое, что надо — идти на фронт. Он пошел.

Вот тут, в ресторане [ЦДЛ. — И. С.], висит доска с именами погибших писателей. Была писательская рота, ополченцы — которая вся погибла под Вязьмой. Осталось три человека всего. Там были или пацаны, или старики, которые воевали в Первую мировую войну или в Гражданскую — они и умели воевать. Остальные там были или идеалисты-комсомольцы, или идеалисты-коммунисты. И те, которые понимали, что если они не пойдут добровольно, то с ними кто знает, что будет. Вполне возможно, что он так и пошел...

— Ты пошел бы вот так на войну?

— Тут задумаешься... Добровольцем я бы не пошел.

Но много их было, тем не менее.

Александр Остапович Авдеенко был пулеметчиком... Его ранили. У его коллег, видимо, была какая-то цеховая солидарность, и вот спецкоры «Красной звезды» стали говорить Ортенбергу, генерал-майору, главному редактору — про Авдеенко. Он был очень известен в своем кругу...

— Как сейчас, например, Быков или Прилепин...

— Ну да, как Прилепин с этим его романом... Все газеты о нем писали. Хвалили. А потом — наоборот, стали писать, что он враг и что фильм он сделал вражеский... Так что знали его все. И, значит, стали писатели уговаривать Ортенберга — вот, мол, Авдеенко воевал, был ранен, получил медаль, пишет хорошо, и — хорошо бы его корреспондентом взять... А тогда и Платонов, и Эренбург, и Симонов тоже — были в «Красной звезде». В общем, уговорили Ортенберга — и Авдеенко перевели в журналы. А это все-таки шанс выжить.

- И он тебе это рассказывал сам?
- Да. В Коктебеле.
- Он в писательский дом отдыха ездил, а ты?
- Я сам по себе. Мы там снимали курятники. У официанток иногда снимал, даже, бывало, на территории самого Дома творчества.
- Почему считалось, что это круто — Коктебель? Из-за Волошина?
- Я тебе объясню, в чем дело. Вот сейчас чего греха таить — все Средиземное море я объехал. Францию, Италию, Испанию, Израиль, Грецию... Это по уровню среднего европейца сейчас средний отдых. Но по-советски — это было бы невероятно круто! В прошлом году я жил в Италии в огромном номере со всеми удобствами, с видом на море. Отдыхал я там в Виареджо, в Сан-Ремо, на Санторини... Но всякий раз, когда выходишь вечером и вспоминаешь про Коктебель, понимаешь — там было прекрасно! Лучшие люди страны там собирались! И в 70-е, и в 50-е, и в 60-е. Жили жутко, да, — но такого класса людей, какой там был, такого класса друзей, такого класса девушек нигде больше не было!
- И эти девушки, они отзывчивые были?
- Ну ты и вопросы задаешь.
- Но все-таки скажи: почему ты выбрал именно Коктебель, а не Судак, не Ялту?
- Потому что это Волошина находка, он великое сделал открытие. И всю русскую богему он туда поселил. На каждом углу память: тут сидела Цветаева, тут сидел Мандельштам, тут сидел Зощенко...
- Это была главная приманка?
- Это оказывало воздействие. И это же красота сумасшедшая! Есть такое понятие «намоленное место», то есть место, в котором это присутствует все. Это было круто — и к тому же очень дешево. Доехать Москва — Феодосия поездом — это 15 рублей или 19 — плацкартом. Когда я стал хорошо зарабатывать, брал СВ, это рублей 25.

А какие там были люди! Меня жутко полюбил Каплер, полюбил меня Рыбаков. Они были все коктебельские люди. Каплер с Юлей Друниной тогда жил. Мы ходили в горы, и Каплер говорит: «Я был сейчас членом жюри в Каннах и мог еще остаться, но мне так захотелось в Коктебель». И я еще подумал: «Понты». А сейчас я думаю, что в Коктебеле, в общем-то, лучше. Тем более, он был ходок. Ходил пешком в Старый Крым. Ходок он был в прямом смысле.

А какие красавицы были там!

— Ну и какие же?

— Замечательные... Расскажу историю, но без фамилий, а то нехорошо получится. Был такой замечательный, грандиозный мужик, журналист Толя Аграновский. У Толи была очень остроумная жена. Она, кстати, писательская дочка, и отец ее сидел. И она все время говорила: «Отправлять мужа в Коктебель — это все равно, что на войну. Никаких шансов, что он вернется...»

И вот жена одного известного режиссера, красавица, я знаком с ней... Ее муж на пике своей славы, человек по-советски в высшей степени устроенный, семью на все лето отправил в Коктебель. И приезжал к ним раз в месяц. А Коктебель одновременно был еще столицей диссидентов, отказников в основном.

— А они почему туда ехали?

— Да потому что считалось, что там как бы нет советской власти. Это была большая ошибка, была она! Но внешне выглядело так, будто нет. Это была закрытая зона, там не было интуристов, вообще широкая публика туда не ездила. Бедно там было... Модные люди ехали в Ялту. Уже Пицунда была... И дамы в Коктебель ездили, которые не с грузинами богатыми хотели — а с художниками, с писателями.

— Да, да. Бесплатные девушки.

— Лимонов там по три месяца жил, значит. И жил там его друг. Красавец. Подпольный поэт. Проклятый. У которого ничего не было, кроме этого (показывает как бы полоску на лбу)... тогда длинные волосы носили...

Не хайратника, а шпандыря, я бы сказал. Знаешь, на кого похож? На Мишу Леонтьева, который выступает по телевизору, вот такого типа — внешне.

— Это который с «Роснефти»?

— Да-да. Брюнет с голубыми глазами...

— Тоже еврей?

— Нет. А Миша еврей разве?

— Не скрывает причем. Да и что плохого в этом?

— ...эта красавица невероятная — не просто закрутила роман с поэтом, что бывает, — а ушла от мужа. Она красавица и очень интеллигентная, очень культурная. Но ушла она — не к другому режиссеру, не к члену ЦК, а к проклятому человеку, которого могли взять за это дело в любой момент, по любому вопросу. Например, почему он в Коктебеле три месяца живет, ни хера не делает?

— Что-то похожее на тему Каплера.

— В общем, она себе искорежила жизнь. А он зарабатывал фарцовкой, чем-то торговал.

— Он жив?

— Он в Париже живет.

— «Жалеет страшно», — как говорит Жванецкий.

— Как они жили — вообще не понимаю. Девушка, привыкшая к хорошим квартирам, к богатой, по советским меркам, жизни... Я просто не могу себе этого вообразить.

— Это сценарий просто!

— В итоге они разошлись. Он уехал в Париж и женился на француженке.

— ...Старой, противной.

— Ну почему обязательно старой... Вон, Андрон-то женился тоже на француженке — она молодая была, очень милая, благодаря ей стал выездным. Вивиан... Она была очень милая, совсем не красавица, но остроумная...

А та красавица, номенклатурная жена, вынуждена была уехать в провинцию...

— То есть это была самая большая и самая яркая коктебельская, крымская история, которую ты запомнил?

- Трудно сказать... Там такое было ощущение какого-то художественного братства. Как-то мы там с другом Славкой прожили месяц, так я вообще не помню ни одной тихой ночи, все время шли какие-то праздники.
- А эта история, лав стори, — ты ее как-то наблюдал или тебе пересказывали?
- Нет. Лично я не наблюдал. Но наблюдал весь Коктебель. У меня была похожая история, драматическая. Но у многих людей это входило в программу — находить такие истории и наблюдать за ними. И у меня, вообрази себе, произошла там жуткая драма, — клянусь, до самоубийства почти дошло! Но — увезли меня ребята на машине... Проходит год. Я опять приезжаю в Коктебель и завожу роман, буквально на третий день.
- Ездил я со старым другом, поэтом, а он такой красавец, на него девушки вешались... А ему нравились всю жизнь «мовешки», он это слово из Достоевского взял — простые такие. Бывало вот идем мы с ним на свидание к каким-то ленинградским балеринам. А девушки из кулинарного техникума моют котлы. (Там приезжал запорожский техникум, а у них вроде как практика в столовой.) Поэт как увидел этих девушек, которые моют котлы, — и все, ему никаких балерин не надо. Поэтому когда мы познакомились с девушками интеллигентными, то он говорил всегда — ой, вы лучше с Толей дружите!
- А ты помнишь, Швейк, когда водил девиц, он за необразованную брал больше? А почему? А он говорит: «От нее больше удовольствия».
- ...и вот я там завел роман, на третий день, с замечательной совершенно дамой. Киевлянка, театральная режиссер, очень красивая женщина... Такая порода... Я когда приехал первый раз в Испанию, я ей в Америку звоню прямо из Барселоны. «Я понял, откуда твой род! Это те евреи, которые из Испании пришли». Абсолютно противоположное тому, что в России считается еврейским типом. У нас с ней замечательные отношения. До того, что я к ней пять раз в Америку ездил. Вот говорят — ку-

рортный роман... А так все серьезно обернулось! И вот после этого я возвращаюсь в Москву, а та дама, которая годом раньше нанесла мне страшную рану, — она мне на второй день звонит, ей уже сообщили про мой роман! И она приезжает в редакцию и мне устраивает скандал в «Известиях». Прямо роман написать! Это просто иллюстрация — насколько все знали друг друга.

- Она устроила скандал в Москве, а ей доложили о свежем романе в Коктебеле?
- В Москве, в Москве! «Как я мог ее предать и завести другой роман!» Год целый уже прошел. С тем человеком, с которым она меня бросила, у них была большая любовь, все нормально. И вдруг — она мне устраивает скандал. Тогда в «Известия» входили свободно, и вот она пришла и где-то там, в холле, устроила засаду...
- Когда ты был в последний раз в этом счастливом месте — Крым, Коктебель?
- Ну, как я. Это ты уже много лет там не был. А что такое? Почему? Ведь счастье, Крым, красота, круче средиземноморской?
- Там пропал интересный мне тип людей.
- Какой?
- Вот такой вот вольнодумной богемной интеллигенции.
- Куда ж она делась?
- Стала за границу ездить. Под старость действительно хочется пожить в хорошем номере со всеми удобствами — чего уж ханжой-то быть.
- И ты тоже стал ездить на Средиземное...
- И я тоже. А когда нет такого народа интересного, то что там делать? Меня в Коктебеле знали все! И даже простые люди. С теми же шахтерами сколько раз там выпивали. С Сережкой я там приятельствовал двадцать лет, с Цигалем, и с Аликом, его братом...
- Но — все стали ездить на Запад, и ты стал.
- Ну конечно. И деньги те же самые получают. Когда долететь до Симферополя стоит столько, сколько до Барселоны... И притом что ни в Барселоне, ни в Италии, ни

в Греции с тебя лишней копейки никто не возьмет никогда. Я был в Крыму, когда еще бандитов было много, я с ними познакомился, проблем с ними не было — но все равно...

- А были у тебя — и у людей твоего круга — в Канне, в Греции, в Барселоне — такие же яркие, красивые романы — как в Коктебеле?
- В Барселоне меня согрела одна немка. В очень хорошем городке. Это пригород Барселоны, Сиджес по-каталонски, Ситхес по-испански. Но это мне тоже всегда было чуждо, даже в Москве — знакомиться в баре где-то...
- А ты — на каком языке с ней?
- По-английски. Она по-английски плохо говорила, но что делать? Вообще смешно было. Это было самое ельцинское время, и ее почему-то очень привлекало то, что я русский. И во мне проснулись какие-то три немецких слова, и я стал ей говорить *Warum?*
- Ну да, а еще «Хенде хох» и *Waffen hinlegen*, «бросай оружие», то есть не бросай, а положи, немцы народ аккуратный... И это было сравнимо с большими романами Коктебеля?
- Ну нет... Никакого сравнения, конечно. Вот я наблюдаю западных людей. Небогатые, средние люди. Как они живут? Скучно. Еще в Греции, в Италии я как-то с кем-то могу заговорить на улице. Ну, во-первых, все приезжают со своими дамами... Как я в прошлом году в городке Виареджо русских проституток узнал сразу! По злым ромам. А так — все же сидят со своими женами, у всех дамы. Как обратиться, поговорить? Итальянцы — они-то еще нормальные. Я как-то шел поддатый, один, и там в кафе девушка пела старые шлягеры итальянские. А я слов двадцать на итальянском могу сказать. После французского. И я, значит, подхожу и говорю: «Синьорина, сонно русо... «Два сольди»... (Это такая песня, я под нее вырос, услышал ее, когда мне было пятнадцать лет.) И она нашла эту песню в караоке и говорит: «Видите, пришел русский и просит песню про два соль-

ди». И спела. А я прямо такой кайф поймал! Вот с ними, с итальянцами, — можно жить...

— И с тех пор, с 90-х, — ничто тебя не подвигло съездить в Коктебель? Про который ты рассказываешь, что он, ах, прекрасный?

— Если бы я знал точно, что будут какие-то люди... А раньше я там исходил не только все бухты — я в Судак ходил пешком, в Феодосию... На знаменитую биостанцию, это в горах, надо идти через Карадаг.

— Но получилось так, что ты так и не съездил... И вдруг тебя настигает весть, что Крым присоединили. Ты счастлив? Какие твои чувства?

— Это все сложно... Я абсолютно, что называется, интернационалист. Я так скажу. Я был несчастлив, когда его отсоединили в 91-м году. Поскольку мне это было очень странно. Я никогда не забуду — иду по голодной, холодной Москве и вдруг встречаю Вайля и Гениса. И мы разговаривали в том страшном переходе на Пушкинской. Я говорю — ребята, я теперь не смогу поехать в Коктебель. Они даже потом это где-то описали, на основании разговора со мной — как люди напуганы. Тем более что для меня Коктебель и Крым были — не буду употреблять официальных терминов «дружба народов» и прочее — местом абсолютного человеческого братства. Но она, эта тема, закончилась, потому что люди поехали на Запад. Кто с вещами, кто на отдых...

Эти тетки, которые сдавали квартиры, — они знали всех. Меня на рынке все знали! У меня был такой друг, певец московский, а по происхождению — бакинский армянин. На взгляд местного народа — бабок, мужиков-писателей было как собак нерезаных. А вот артист из Большого театра, да еще такой красавец — это другое дело! Когда был сухой закон, надо было с этим артистом ходить, для такого человека доставали бутылек-другой.

— То есть твое отношение было сложное в 91-м. А когда сейчас Крым в Россию забрали — что ты думал? Порадовался, что он снова русский?

- Очень сложное отношение. Потому что, с одной стороны, я считаю, конечно, что это русская земля. Ну так получилось. Так же, как Львов никогда не был советским, не был Россией. Как-то я прочел, что какой-то был царский сановник по фамилии Дурново, который предупреждал Государя, что не надо нам завоевывать Западную Украину. Мы уже имеем поляков, и еще нам взять этих людей, которые тоже будут нас ненавидеть — зачем? Сталин, что называется, подсиропил...
- А что, по-твоему, будет с Донецком? С Луганском?
- Я не понимаю, почему нельзя допустить федерализации. Почему в Германии 25 земель и это никому не мешает? Почему в Америке 49 штатов?
- В Америке их даже больше, кажется... А ты не думал о том, почему в России нет федерализации?
- Как, она все-таки есть — официально.
- Ну разве только на бумаге.
- Это другое дело. Когда я учился в университете, у нас украинцев принимали без экзаменов практически. У нас каждая вторая фамилия была Подопригора, Прокopenко, Козаренко — на факультете журналистики. А самую главную карьеру у нас сделал Виталий Игнатенко.
- И все-таки, куда ты сейчас поедешь отдыхать? Лето же. В Крым?
- Нет. Не поеду. Заработаю — поеду опять в Грецию. Или в Италию, — хотя я ее практически всю объездил. *Bella Italia!* Люблю, люблю... Хотя — в Коктебеле замечательное море. Только надо отойти километра два-три в сторону... Так-то народу много, а в бухту отходишь — там просто чудо.
- А вот Аксенов — ты же с ним встречался, в Коктебеле. Теперь надо уточнять, что — Василий, а не другой какой Аксенов.
- Я знал его и раньше. У Васи в его очерках о курортах мировых то и дело встречается что-то вроде: «Хорошее место, похоже на Коктебель».

— «Против Крыма все курорты — жалкое подобие левой руки!» Потому что молодость? Я помню, мы в школе учились — так ездили на ставок на так называемых «92-х», это в Макеевке. Еще мы ездили на отстойники возле шахты Бажанова. Офигенно было! Вода, солнце, синее небо, как в Италии, портвейн, как в Португалии. Самогонки отольешь тайком у отца, это же виски! Нарвешь яблок, абрикосов прям на улице... Какие-то девки там, свежие, румяные, аж лифчики на них трескаются... Да роскошь! Такого замечательного отдыха после и не было даже в Австралии. Вот это отдых! Какое, нах, Майями-Бич? Говно. Понимаю, понимаю... Молодость... Правда, я не готов сейчас мчаться на шахту Бажанова в отпуск. Честно в этом признаюсь.

— Не только в молодости дело. Коктебель не только этим хорош. Вот этот знаменитый эпизод, Вася это в романе описал — когда его день рождения перерос в оккупацию Чехословакии. Наутро была гроза жуткая... Аксенов — а еще Рыбаков там бывал.

Чисто по пейзажу Крым — это не хуже, чем лучшие места Италии. Когда ты едешь, скажем, от Феодосии на машине в Коктебель, то вот эти все долины — это просто Тоскана!

А Артек? Я однажды там месяц работал спасателем. В Морском лагере, внизу. Будучи студентом. Мы приехали и стали искать с приятелем, где бы притулиться. Жилья не смогли найти. И вдруг встретили знакомого какого-то крымского парня, он говорит: ребята, нам нужны спасатели, дежурить, когда ребята плавают. Плавали мы прилично, а грести, сказали, научимся. И нас поселили прямо на берегу моря. Наша задача была в том, чтобы, когда ребята купаются, следить за ними, чтоб не утонули. Тогда еще Артек был старый, новые корпуса только-только начали строить.

— Мы вот за разговором выпили весь коньяк в буфете ЦДЛ. Осталась только водка. Ну да мы не гордые...

— А еще же Одесса... У меня был друг, поэт с факультета — Олег Дмитриев, у него были строчки: «Одесса, я прошел

тебя насквозь!» Мы там были на Пушкинском празднике. И был очень хороший поэт — Владимир Соколов... Мы целый день ходили по Одессе и выпивали в разных местах. Половина моих одесских друзей отбыли, сам понимаешь, куда.

— Ну да. В московский КВН. В Нью-Йорк. Немножко в Израиль.

— В Америку в основном. Помню огромного одесского мужика, очень хорошего писателя — это Аркадий Львов. Вот я Бабеля не понимал, пока не увидел Аркадия. Я не знал, как это может быть — еврей двух метров ростом, здоровый, пьющий водку, и по морде может дать. Вот Аркадий был такой типичный одесский человек.

— Ты, небось, привык к другим евреям?

— Да. А как Генка Швец меня к своему приятелю на дачу в Одессе завез... Ну там, где Миша Жванецкий, какая-то из станций Фонтана. И старики говорят: «Шо вас интересует?» — Он писатель, его интересует Одесса. «О! Вас интересует за Одессу...» И всю ночь нам рассказывали... Еще — Львов! Туда все время ездил из Москвы такой нищий гений, бывший лагерник, великий журналист, великий критик — Саша Асаркан. У него там во Львове были друзья, с которыми он сидел. Ну и потом для него это был единственный доступный Запад. Так вот Александр был большой знаток Львова. Московский нищий, по виду дервиш абсолютно. Все, что зарабатывал, — он раздавал. Все, что ему дарили... Окуджава несколько раз пытался его приодеть. Он все это отдавал кому-то.

— Мы тоже много раздаем — официанткам и буфетчицам.

— Асаркан очень хорошо знал Западную Украину, что редкость для москвича. На западе я бывал во Львове, в Тернополе, в Коломые. Бабелевские места, где «Первая конная». Когда читаешь Бабеля — вот это там все происходит — Гусятин... «Товарищ, от этой жизни я желаю повеситься...» Только уже синагоги при советской власти были закрыты, конечно. Они там видны все были. Переход через Збруч... Там рассказ начинается. А вот

что касается суржика, вот эта смесь украинского и русского — все шахтеры почти говорят там на этой смеси. А во Львове — там, конечно, очень много польского. В украинском много польского.

— Отож.

— Вот ты говоришь — «ставок». Когда я стал ездить в Крым, на Украину, то узнал таких слов очень много. Мужские грубые выражения там свои... Был такой, он старше меня, необыкновенно блестящий журналист Женя Добровольский, работал спецкором «Литературки». У него есть потрясающий рассказ «Кум», где герой — старый шахтер. Вот там как раз у него такая речь. А вот какой город я очень люблю — так вот Киев. Я когда-то там булгаковский дом нашел. Когда еще никто не знал! И тогда фотограф был один из лучших Витя Ахломов. И вот мы шли с ним, значит, на Андреевский, а корпункт «Известий» — на Крещатики, в одном из редких сохранившихся домов старых, дореволюционных. И мы ориентировались на растреллиевскую церковь. Идем, значит. Бабка навстречу, мы ее спрашиваем: «Бабушка, нам дом 13 нужен!» Она отвечает: «Та шо, хлопци, Булгакова ищите?»

Знаешь, где я еще был? В Черкассах. Мало кто бывает в Черкассах... Красивый город. В Чернигове был. Из Черкасс на пароходе вверх до Киева дошел... В Чернигове при советской власти я писал очерк. Советский, но это было не вранье. Там был замечательный мужик по фамилии Буденный. Он был директор местной торговли черниговской. При советской власти, когда ничего не было, — он делал прекрасную, не богатую, но нормальную торговлю! Построил прекрасный универмаг европейского типа. Очередей нет. Замечательный мужик. А «Неделя» — мы должны были про жизнь такую, бытовую писать...

— Ты вот ездил, писал. А уже — и Украина не та, и «Известия» не те.

— ...а потом я с фотографом был в Запорожье во время сухого закона. В район приехали. Там третий секретарь,

такой красивый мужик. В костюме. Тогда важно было, чтоб все в костюме были, с галстуками. Он чего-то мнетя. «Что случилось?» «Давайте по чарке выпьем». Он обалдел. Думает, москвичи, из «Известий», наступчат. Я говорю, да по чарке можно. Он сейчас же звонит по телефону. Вот к ставку подъезжаем, там лесополоса. Подъезжает газик. Накрывает. Какое «по чарке» — там по пять бутылок!

- Я помню, я ехал куда-то в район по сельскому хозяйству, в колхоз. Звоню председателю. Он говорит: «Какие вы хотите посетить хозяйства? Такие-то? Будет сделано. Во сколько вы приедете? Понятно. Очень хорошо. Обедать как вы предпочитаете, в столовой или на природе на речке? Летом на речке, конечно? Вы бухаете или так? Мы бухаем. А женщин своих привезете или вам подогнать? Секретарши, доярки, у нас все есть». Говорю, ну, вы знаете, до этого не дойдет. Мы планируем с утра до обеда поработать, пообедать, потом выпить — и по домам. — «Вы уверены?» — спрашивают... Да, говорю, уверен. Это Калужская область, но уже юг, часть пути до Киева пройдена. Я был в молодости тонкий такой, чувства, ухаживания... Так просто никто не давал. Надо было че-то сочинять, ухаживать... Условия были невыносимые... Да, на чем мы остановились? На Донецке?
- Среди Донецка большое какое-то озеро есть. Терриконы кругом, стадион недалеко. С терриконов смотрят футбол.
- Только не озеро, а река, Кальмиус, она же Калка.
- На прощанье расскажу историю донецкую. Не свою. Писатель он был плохой, но очень остроумный человек. Это Борис Савельевич Ласкин, автор важной песни — «Спят курганы темные...» Вот у него рассказ был замечательный. Приехали московские писатели в Донецк выступать перед шахтерами. Их чуть не в шесть утра подняли, привели на шахту. Ну, к директору, в партком. Там приносят такую кастрюлю, полную сарделек. Огромную. И несколько бутылок — для интеллиген-

тов — зеленого ликера такого. Борис Савельевич говорит: «Выступать же будем». — «Да позавтракаем... Ничего, народ поймет». И вот смена вышла, не мылись еще даже, сели в красный уголок. «Сейчас перед вами выступит автор нашей любимой песни «Спят курганы темные» Борис Савельевич Ласкин. Но только учтите, писатель позавтракал».

— А мы поужинали. Ахаха.

Хохот.

Занавес.

Буфет ЦДЛ закрывается, и нас выгоняют. Идти наверх продолжать — нету денег, да мы и пьяные уже.

И в Крым не поедет, ни он, ни я. И в Донбасс не собираемся. Как-то так получается...

ЮГОСЛАВСКИЙ СЦЕНАРИЙ

В один прекрасный летний вечер я приехал на дачу к Божо Ковачевичу — своему старому товарищу. Он политик, профессор, дипломат, был когда-то послом Хорватии в Москве (2003—2008), а сейчас взял *break* и пишет, точнее даже дописывает, книгу про международную жизнь после Холодной войны. И вот мы сели на террасе возле его домика в хорватской деревне, в Истрии, выпили сперва ракии, которую друзья прислали ему из Сербии (да, да, мы же не тупые националисты, а люди продвинутые, широких взглядов!), после перешли на белое под жареную кильку, ранним утром выловленную в Адриатике. Выпивали, говорили про разное актуальное, конечно, про Донбасс и Россию тоже, и вот мне в голову пришла мысль, которую я принялся сбивчиво излагать:

— Боже! — говорю я. [Звательный падеж в хорватском неплохо сохранился и используется не только в молитвах, как у нас. — И. С.] — Мы уже с тобой много раз говорили про войну в Югославии, много чего обсудили, и это все любопытно. Но! Раньше тот интерес был чисто теоретический и познавательный. Не более чем дела минувших лет, не имеющие отношения к нашей теперешней жизни. И вот вдруг! Все переменялось. В бывшем СССР идет война, на тебе! Кто бы мог подумать. Мы думали, что югославский сценарий нам больше не грозит. А теперь так не думаем. Вытаскиваем из нафталина ту вашу войну и внимательно рассматриваем... Скажи, на какой этап югославской войны похожа сегодняшняя ситуация на Юго-Востоке Украины? (Если, конечно, вообще похожа.)

- Сходство есть! У нас была аналогичная ситуация в 1991—1992-м, когда мы воевали с Сербией, которая считала, что должна забрать большую часть нашей территории.
- Ну-ка, ну-ка. Как там развивалась ситуация? Какие были позиции и концепции сторон?
- Наша официальная позиция была такая: необходимо признать Хорватию независимым государством. В рамках границ бывшей Социалистической республики Хорватия. А позиция Милошевича была другая: эти границы не более чем административные, а на самом деле Сербия — это вся та земля, где есть сербские могилы. По этой концепции $\frac{2}{3}$ хорватской территории должно было отойти Сербии. И, кстати, вся Босния. Это по линии Вировитица (север) — Карловац (40 км от Загреба)...
- Это где знаменитый ваш пивзавод...
- Да, да. И Карлобаг, на побережье. Все, что восточней этой линии — должно было попасть под контроль Сербии. Вся Далмация с Дубровником, вся восточная Хорватия, вся Босния. Такая была их концепция. И вот на Пасху 1991-го началось организованное сербское восстание против официальной хорватской власти...
- Сербская весна?
- Можно и так сказать.
- И все-таки — почему люди восстали? Может, были какие-то объективные причины?
- В основном на них влияла пропаганда сербского правительства, заявлявшего, что в Загребе у власти усташа, фашисты из времен Второй мировой войны. Но там имели место и репрессии против местных сербов. В 1990—1991-м.
- Убивали их?
- Были и такие примеры.
- А сколько тут у вас сербов жило, много?
- До войны они составляли 12% населения, сейчас — 4%.
- А 8% были убиты?
- Нет. Правительство так называемой Республики Сербская Краина пригасило их организованно покинуть тер-

риторию и переселиться в Сербию. А когда началось то восстание, «Сербская весна», то эйфория там была небывалая! Когда танки из Белграда пошли на Хорватию, сербы забрасывали их цветами. Милошевич был самый популярный политик в Сербии. Самый высокий рейтинг у него был в 91-м, когда он начал наступление.

- Небось, как у Путина — 80% с чем-то.
- Не помню уж я тех цифр... И вот, значит, Сербия организовала восстание сербского населения в Хорватии. Повстанцы оккупировали треть хорватской территории. (Половину того, на что претендовали.) Это Сербская Краина...
- Ага! А как правильно говорить — «в Краине» или «на Краине»?
- В, в! В Краине.
- Надо же. Давай мы обозначим для не очень хорошо знакомых с географией — где это.
- Это три территории. Одна — вокруг города Книн, это на юге Хорватии, где большинство населения — сербы. Еще Западная Славония — приблизительно 100 км к западу от Загреба, и Восточная Славония — на границе с Сербией. Вот они и были оккупированы Сербией.
- Кем, какими силами — армией?
- Сербскими повстанцами, которым помогала Югославская армия. И вот так они установили свою власть на этих территориях.
- А повстанцы — это были кто, местные или они приехали из Сербии?
- Местные! Но им помогала армия и *paramilitary* части. Это «Белые орлы» Вука Драшковича. Аркановцы...
- Имеются в виду люди знаменитого Аркана, которого у нас воспевал его друг Лимонов?
- Да, тот самый, который женился на популярной певице.
- Кассета со съемкой с праздника была бестселлером и продавалась по всей Югославии! У тебя есть?
- Нету. Кроме вышеперечисленных, еще здешним сербам помогали четники Шешеля.

- Четники — такие с бородами?
- У Шешеля нету бороды, не растет. У нас четниками называли всех националистов, которые хотели расширить границы Сербии.
- А сербы всех ваших партизан называли «усташи».
- Да, верно. Но не партизан, а боевиков.
- Надо, да, осторожней с терминами... Четники — это более позитивно, как я понимаю, потому что они воевали против фашистов, а усташи — часто за, так?
- Я так скажу: усташи — это была партийная армия того режима, который установился в независимом государстве Хорватия, а оно было под влиянием Гитлера. Четники же — это была официальная армия королевства Югославия. И усташи, и четники сотрудничали с немцами во Вторую мировую. Но не вместе, а по отдельности, каждый по своей линии. А в 1943 году и усташи, и четники участвовали в большом наступлении на партизан в Боснии, хотели их уничтожить. Первая битва была на реке Неретва, а вторая — на реке Сутьеска в Черногории. Они вместе воевали против партизан, которых контролировали коммунисты. Разные шли в партизаны — и сербы, и хорваты, и мусульмане, и евреи.
- Как известно, коммунисты под руководством Тито победили. И вот Милошевич как наследник Тито...
- Милошевич не был наследником Тито. Он возглавлял компартию Сербии — а не всей Югославии. Но возмнил себя восстановителем Югославии.
- Так это у нас там, что ли, идет реконструкция Югославской войны? Да-а-а... Не зря именно Гиркин так поднялся, он же известный реконструктор...
- Как известно, Милошевич отменил автономию Косова и повлиял на то, чтоб в 1989-м там ввели военное положение.
- Косово с чем можно сравнить — с Крымом?
- Нет. Косово — независимое.
- Как Чечня?
- У Чечни нет независимости.

- Ну, это же чисто на бумаге нету, что вы тут, в Европе, такие формалисты.
- А Косово и формально, и по сути независимо. Правда, не все его признали... Но тем не менее Косово не зависит от Белграда.
- А от кого зависит?
- От США.
- Гм... А зачем оно США? Из-за военной базы?
- Да. И потому США являются гарантом независимости Косова.
- Там же была история с торговлей органами. Которой занимались косовские боевики. Карла дель Понте про это сказала, но когда уже было поздно. Эта история как-то заглохла.
- Евросоюз провел расследование и подтвердил это — да, было.
- Но никого не арестовали.
- Арестовали одного хирурга из Турции, который работал в клинике в Приштине.
- И все?
- Ну, может, еще кого посадят...
- Вяло это как-то. Милошевич, кстати, довольно долго держался. Почему?
- Потому что, когда Югославия стала разваливаться, его стали поддерживать Штаты и Англия.
- Почему? Почему именно его?
- Они думали, что он сильный и сможет держать ситуацию под контролем. Но когда увидели, что Милошевич не справляется...
- Ха-ха-ха! МилошеВИЧ и ЯнукоВИЧ. Некоторое даже созвучие есть. С конца.
- ...тогда Штаты отказали Милошевичу в поддержке.
- Потому что не тянет! Логично.
- Правильно! И еще он вел себя так, будто он на одном уровне с западными лидерами. Он ошибся. Сначала разгромил Вуковар. Потом стал бомбить Дубровник. (Тогда уже был интернет, и хорваты стали показывать, что

происходило в Дубровнике.) Продолжилось это в Боснии — там сербы убили много людей и постоянно бомбили Сараево.

- Да, да, были еще кадры, как Лимонов стреляет по Сараево. И вот сейчас Лимонов поддерживает Крым и повстанцев в Донбассе. Его нацболы еще в 1999-м провели в Севастополе акцию типа «Крым — русский!» Они за это отсидели в тюрьме. Да и самого его то и дело задерживала милиция, когда он проводил свои митинги на Триумфальной в Москве. А теперь Лимонова перестали задерживать! Ему дали право проводить митинги.
- Ирония судьбы!
- И сегодня Лимонов — на стороне, получается, власти. Я, кстати, писал, что теперь кремлевские должны наградить Лимонова медалью или вовсе орденом. Это было бы справедливо...
- Всякое сравнение хромает. Все-таки Россию с Сербией тяжело сравнивать. Россия с Украиной, Казахстаном и Белоруссией договорились о демонтаже СССР, и процесс прошел мирно... Важно и то, что Сербия не была намного сильнее остальных республик бывшей Югославии. А вот с Россией никто из бывших соседей по СССР не мог сравниться. И еще одно принципиальное различие — РФ имеет ядерное оружие. Которого у Сербии не было. Сейчас Россия участвует в глобальной игре, хочет помешать ЕС и НАТО расширяться на восток. Игра не закончена. А Сербия с начала 90-х была на той стороне, которая проигрывала все и не могла победить. Милошевич ничего не понимал, он ожидал поддержки со стороны СССР... Но Советский Союз развалился.
- Сейчас некоторые в Донбассе тоже ждут поддержки России — как Милошевич!
- Я считаю, что в Восточной Украине воюют главным образом наемники. Причем воюют они за счет России. Как я понимаю, Россия не ставит задачу защитить права населения, а просто боится расширения НАТО и пытается этому помешать.

- Если серьезно — есть смысл сравнивать Путина с Милошевичем? Или это разные вещи?
- В чем-то они похожи, в чем-то — нет. Милошевич не мог смириться с тем, что остальные бывшие югославские республики хотят стать самостоятельными. Не желают быть под влиянием Сербии. Можно сказать, что и у Путина такое настроение. В этом сходство. А разница в том, что в 1990-м, когда у нас начались проблемы, Хорватия еще не была самостоятельным государством, еще существовала Югославия. А Украина — самостоятельное государство уже больше двадцати лет. Правда, Путин относится к Украине так, будто она не суверенное государство, не признает ее статуса.
- Многие русские этого тоже не признают. В душе. И вот вы, значит, решили сражаться...
- В 1991—1992 годах хорватская полиция пыталась вернуть контроль над этими территориями, но это не удалось тогда. Шли бои, проводились операции — например, у города Задар. Или — в Восточной Славонии, возле Вуковара.
- «Вук» — это волк, как на знамени Ичкерии. А «вар» — что это?
- Это значит «город» по-венгерски. Волчий город. Там смешанное население, сербы и хорваты. За Вуковар шла настоящая война! Когда там была хорватская администрация, югославская армия атаковала город, бомбила его несколько месяцев — и в ноябре 1991-го заняла. Вот я говорю — «югославская армия», но точнее было бы называть ее сербской.
- Но там же и хорваты служили? Офицеры в том числе?
- Они, в основном, покинули ее и вернулись в Хорватию, когда началась война. То же случилось и с мусульманами.
- Таки это похоже на Украину!
- Да, похоже! Эти наемники российские, которые воюют против официальной украинской армии, — похожи на тогдашних сербских «повстанцев».

- И еще в чем сходство — людям ничего невозможно объяснить, они на нервах, на пафосе и не могут договориться.
- А как население жило в ту войну? Электричество, вода? Снабжение?
- Там все было. Несмотря на то что нормальной торговли и коммуникаций этих территорий со свободной Хорватией не было. Продовольствие шло, наверное, из той части Боснии, которая была под контролем Сербии. Книн — недалеко от границы с Боснией, Западная Славония — там граница с Северной Боснией, то есть с Республикой Сербской, а Восточная Славония граничит с Сербией. Видимо, оттуда и шло снабжение.
- Это мы теперь повторяем всю ситуацию для тупых, которые не поняли. У нас как бы идет реконструкция югославской войны... И сколько длилась эта, как ты говоришь, оккупация?
- Большая часть оккупированной территории была возвращена в 1995-м, остальное — в 1997-м.
- Иными словами, прошли годы. Что так? Армия у вас слабая была? Как украинская?
- Тут нельзя сравнивать. Украина за двадцать три года независимости уже должна была создать серьезную армию. А у Хорватии не было независимости — и, соответственно, армии. Но мы построили ее за каких-то четыре года! В освободительной операции 1995 года участвовало 250 тысяч военных. Это в определенном смысле чудо — что такая маленькая страна, у нас население четыре миллиона всего, создала такую большую армию. И боеспособную причем. Мы в считанные дни освободили большую часть оккупированной территории. Линия фронта была 600 км!
- А кто вооружал, кто финансировал вашу новую армию?
- Частично — Германия, частично — эмигранты. И еще на это пошли деньги, вырученные от продажи гражданам государственных квартир.
- А бесплатной приватизации жилья не было у вас?

- Нет. Но продавали все-таки по льготной цене.
- Итак, за четыре года вы создали огромную армию — и...
- Она быстро освободила территории вокруг Книна, а также Западную Славонию. Что касается Восточной Славонии, которая граничит с Сербией — это, по понятной причине, затянулось.
- Ага! Донбасс! Чисто Донбасс! А сразу не удалось, потому что, небось, помогали сербские вежливые человечки!
- Проблем была решена только в 1997 году. При помощи ООН. Было подписано соглашение о переходе территорий Хорватии. Что касается освободительной акции армии, то ее задача была простой: обеспечить территориальную целостность Хорватии. За границы страны армия не выходила.
- А та сторона — можно ли про нее сказать, что она защищала интересы сербов, живущих в Хорватии?
- Милошевич так и говорил, что защищает сербов.
- Прямо лезет сходство с нашей ситуацией сейчас!
- Да. Сербская пропаганда убедила их, что в Загребе восстановилась власть усташей.
- То есть там как бы фашисты.
- Ну да! И, наверное, некоторые из них боялись! Но это неправда, у нас не было власти фашистов.
- Все кончилось хорошо с войной. Проблем нету сейчас? Все спокойно?
- Да. Но некоторые проблемы есть. В ходе того конфликта хорватские силовики разрушили дома некоторых сербских террористов. Хорватское государство взяло на себя обязательство эти дома восстановить. И сделало это. Но в какие-то маленькие поселки не провели электричество. Линии электропередач были повреждены, и их не восстановили. Люди как-то живут...
- Восстановили дома террористов! Я про такое не слышал никогда. Ладно, с сербами в Хорватии понятно. А что хорваты в Сербии, как они там?
- Они живут в основном на севере в автономии, которая называется Воеводина. Там есть люди, которые считают

себя хорватами. И есть так называемые буневцы. Они в действительности хорваты, но сербы их считают отдельной этнической группой. Однако сами они хотели, чтоб их дети ходили в школы с преподаванием на хорватском. Еще пару лет назад у них не было такой возможности. Но отношения между странами нормализовались, и теперь там появились школы с преподаванием на хорватском. По учебникам из Хорватии.

- Объясни мне, пожалуйста, про язык. Вот ты говоришь, что хорватский был запрещен в Сербии.
- Преподавание в школах нельзя было там вести на хорватском!
- Сербский, хорватский, сербохорватский еще же раньше был. А вот мы с тобой на днях вели беседы с дружелюбным нам сербом, — ты все понимал, что он говорит? Было тебе комфортно? Или что-то резало тебе ухо? Ты чувствовал, что это был чужой язык, тот, на котором он говорил?
- Я, конечно, все понимал. Но еще я осознавал, что это не хорватский, не чистый хорватский.
- Ну, допустим, не чистый. А где он, чистый язык-то? И у нас московский говор сильно отличается от, например, донского. Мне кажется, различия между двумя этими диалектами больше, чем между сербским и хорватским языками. (Которых я не большой знаток, но тем не менее.)
- Это правда... Скажу больше: между официальными языками Сербии и Хорватии разница меньше, чем между некоторыми диалектами хорватского языка. На слух можно отличить хорватский язык от сербского, но каждый хорват поймет серба — и наоборот. Более того — по тому, как человек говорит, не узнаешь, серб он или хорват.
- Ты меня добил. Понимания у меня не прибавилось. Так что ж тогда запрещали-то в Воеводине? Не могу сообразить.
- Тут все непросто. В хорватском есть три основных диалекта — штоковский, кайковский и чаковский. Это по

слову «что». В одном диалекте это будет «што», в другом «кай», в третьем «ча».

- И больше нет различий? Только эти?
- Есть, конечно, и другие. Внутри этих трех диалектов есть и подгруппы, другие диалекты.
- Это на население численностью в треть московского... Непросто все у вас!
- Непросто! В XIX веке интеллектуалы Хорватии и Сербии решили создать один общий южнославянский язык.
- И какую оценку мы сегодня можем дать той затее, был в ней смысл или нет?
- Ну, сделали такую комбинацию... На самом деле — хорошая была мысль. Они же хотели объединить южнославянские народы! Которые жили в разных государствах — одни в Австро-Венгрии, другие в Сербии и Черногории. И вот тогда интеллектуалы придумали учредить общие стандарты... Стали этим заниматься. Многое удалось! В итоге сегодня официальный хорватский похож на официальный сербский.
- Вот! Наконец ты мне объяснил. А то все ходят вокруг да около и что-то наукообразное исполняют. Мы, иностранцы, не отличаем один язык от другого (пardon, не обижайся) и не можем понять, из-за чего вы копыя ломаете... Ладно, люди готовы друг друга убивать за русский или украинский языки, что тоже не очень мудро — но там разница куда более разительная и принципиальная, чем у вас.
- На лингвистическом уровне у нас один язык. Но на уровне социолингвистики — языки разные! Они развивались в разных направлениях...
- Что ж оно такое — эта социолингвистика? Как-то это для меня сложно. Конечно, ты профессор... О чем мы говорим?
- Основы грамматики похожи. Но что касается лексики и иногда синтаксиса — тут есть отличия. Но, конечно, все равно хорваты и сербы понимают друг друга.
- Иными словами, эти разговоры про разные языки и про их ущемление — это, на мой простой взгляд, чистая по-

литика. А не лингвистика. Я же, как известно, славлюсь своей объективностью.

- Вот я тебе рассказал про то, в каком направлении язык развивали в XIX веке. А теперь расскажу, что было при коммунистах. В 1967 году наши интеллектуалы подписали петицию — они хотели защитить хорватский язык. Потому что определенные круги в Сербии и в союзных органах власти хотели еще поработать над единым стандартом языка.
- Хотели, небось, как лучше.
- А нам показалось, что сербы просто хотят навязать нам сербский язык под видом общего югославского. Но они не смогли этого добиться. Причин много. Да, в Сербии была сосредоточена политическая власть. Но республика эта всегда была аграрная. Самой экономически развитой была Словения. А уровень предпринимательства был самый высокий в Хорватии. Тут развивался туризм. На хорватское побережье приезжали, в основном, западные немцы, платили марками. А вся валюта шла в Белград! Хорваты сопротивлялись, самим хотелось контролировать валюту.
- Валюта оказалась сильнее коммунизма! Эхе-хе... Но дело не только в языке и не в том, как делить деньги. А в каких-то более глубоких вещах. Вообще, можно сказать, что сербы и хорваты — братские народы? Что они такими были? А потом перестали? Или они таковыми никогда и не были?
- Э-э-э... До 1991 года сербы и хорваты никогда не воевали друг против друга напрямую. Но надо сказать, что в Первую мировую на стороне Австро-Венгрии воевали и хорваты, и сербы — против сербов из Сербии. Во Вторую мировую уже была независимая Хорватия, которой правили нацисты. Сербское правительство было под влиянием Германии. У них тоже были расовые законы, они убивали евреев и цыган.
- Как и хорваты?
- Да, да.

- То есть, можно сказать, что эти были братские народы и они вместе убивали евреев...
- Они чувствовали себя братскими народами до того, как стали жить в одном государстве. Но вот после Первой мировой было создано единое государство! В несколько приемов. Когда развалилась Австро-Венгрия, то словенцы, хорваты и боснийцы создали общее государство — на территории сегодняшней Боснии, Хорватии и Словении. И потом оно присоединилось к королевству Сербии. Все эти народы вместе решили, что государство будет федеративным.
- Федерализация! Модное щас словцо...
- Но сербы как победители в Первой мировой считали, что они в этой федерации должны быть главными, что они должны командовать всей этой объединенной территорией.
- Как все странно в этом мире! Россия проиграла Первую мировую, а Сербия — из-за которой Россия в ту войну ввязалась, — выиграла. Чушь какая-то...
- Австро-Венгрия обвинила Сербию, что она виновата в убийстве эрцгерцога. А Россия решила защищать своих православных друзей.

Я хотел было поправить Божо — не друзей, а братьев, ну как бы уточнить. Но чего уж теперь уточнять. Задним числом. Тем более что термин братские народы напоминает о неприятном, о войнах, например... Так что я не стал поправлять и сказал только:

- Мудацкое было решение.
- Сербия — не главное. Важней тогда были отношения России и Германии. И, с другой стороны, Германии и Англии. И Англия, и Россия боялись, что Германия станет слишком сильным государством. Я не совсем понимаю, чего хотел Николай...
- Это не очень важно теперь. Дело прошлое. Да и умом Россию не понять — ни тогда, ни сейчас.

- Англия хотела остановить развитие Германии... И вот когда в конце XIX века Османская империя развалилась, то Австро-Венгрия решила аннексировать Боснию, которая прежде была под турками и тогда осталась без присмотра. А в Боснии существовало движение «Младобосния» (Гаврила Принцип и прочие), которое хотело присоединить Боснию к Сербии.
- Как они уже за*бали все. Эти люди, которые все чего-то кроют и перекраивают, и убивают.
- Ну да. Еще про параллели между нашими странами. Если говорить о том, что происходит сейчас... Думаю, Запад совершил ошибку в Киеве, поддержав те силы, которые организовали переворот и отстранили Януковича от власти.
- Что значит — отстранили? Да он же просто сбежал! А мог бы воевать, как Милошевич.
- Он не контролировал эту Раду.
- Ну, грубо говоря, Рада — независимая ветвь власти, по Конституции. Вы, формалисты, не должны про это забывать! Но я про другое: если ты президент, так иди, сражайся, как Кастро. Или умри с оружием в руках, как Альенде. А убежал — все, тема закрыта!
- То, что происходит в Украине, очень похоже на то, что было в Хорватии в начале 90-х.
- О чем я и говорю!
- Что касается Украины, то там идет большая стратегическая игра. Россия, насколько я понимаю, не может согласиться с тем, чтоб НАТО расширялось дальше на восток. Сегодняшняя власть России с этим не согласится никогда. И второй вопрос — власть РФ боится, что, если демократия в Украине победит, то цветная революция произойдет и в Москве.
- Думаешь, это вероятно?
- Не знаю, вероятно или нет, — но Путин этого боится.
- А как ты думаешь, русские политики не изучали опыт Югославии?
- Изучали. Но ничего не извлекли из этого. Милошевич проиграл все, что мог проиграть...

- А русские, ты считаешь, не сделали выводов из этого... У меня вообще такое чувство, что русские государственные начальники считают Милошевича нормальным парнем, у которого просто не получилось, ну, чуть не дождал. А уж они-то сделают все правильно, — кажется им.
- Да, да! Они, наверное, еще думают о том, что Милошевич противостоял Америке. И русские политики тоже ей сопротивляются.
- А ты вообще проамериканский политик или какой? Он смеется.
- Ну не промосковский же.
- Нет, я просто стараюсь понять, что происходит.
- А, то есть ты как я! Но это — вряд ли. Поскольку, в отличие от меня, ты — политик. А европейский политик — он сегодня или за Америку с Израилем, или за ХАМАС.
- Я не за ХАМАС. Но и Америку поддерживаю не во всем. По Ираку — не поддерживаю. Та война была безумием, на мой взгляд. С Афганистаном понятно — там находится Аль Каида.
- А вот мне непонятно. Если надо разобраться с Аль Каидой, так бомбите Саудовскую Аравию, которая финансирует террористов. Но американцы не стали этого делать, потому саудиты держат свои деньги в Штатах.
- Они союзники. Да, нефть...
- С Афганистаном стали воевать потому, что не с руки воевать с Саудовской Аравией. А что-то надо было же делать. Потерянный кошелек стали искать не там, где его обронили, а под фонарем, потому что там не так темно... Твой прогноз какой? Будет дальше у нас там ситуация развиваться по югославскому сценарию?
- Думаю, что до крушения самолета был шанс, что Россия добьется каких-то переговоров о нейтральном статусе Украины, что та не войдет в НАТО. Это было реально, такие гарантии могли быть даны. Но после этого теракта все изменилось. Я не знаю, кто сбил, вероятно, наемники — но ответственность лежит на России. А она

исчерпала запас терпения Запада. Впрочем, Запад — не единый, не монолитный, разные его части имеют свои интересы, иногда взаимоисключающие. Европа стала развиваться достаточно самостоятельно. Когда нет угроз со стороны России — Европа может развиваться. А интерес Штатов другой: он в том, чтобы Европа чувствовала угрозу со стороны России. Я считаю, что США провоцирует [Россию и Украину. — И. С.] на этот конфликт, разжигает его. Но это не значит, что России позволено делать все, что она захочет! Ошибка с этим самолетом — просто непростительна. Этим, как я уже говорил, Россия исчерпала терпение Запада.

- В скобках замечу, что единая ваша Европа — не совсем единая. Вы создали (хорваты вошли позже, вы, строго говоря, не создавали) юридическое тело, которое нежизнеспособно.
- Я частично с этим согласен. Надо провести реформу ЕС и согласовать интересы стран.
- Мне кажется, ничего не выйдет, и все разбегутся. Я, кстати, у вас тут многих спрашивал: вы для чего вступаете в ЕС, просить денег у немцев или слать пожертвования бедным — грекам, итальянцам, испанцам? Мне, как правило, отвечали, что вопрос этот людям не приходил в голову... Мысленная моя скобка закрывается. Поехали дальше. Вот ты много рассказывал про войну. А почему ты сам не пошел тогда воевать за единую и неделимую Хорватию и все такое прочее?
- Я был генсеком первой оппозиционной партии. Я предложил тогда властям, чтоб меня назначили куда-то, послали на войну, но они сказали: ты нужен в Загребе.
- Да-да-да. Такие люди, типа, в тылу нужны. Вон Жириновский тоже хотел на войну, но его что-то никто не посылает на нее.
- Я считаю, они мне просто не доверяли. Все-таки я был представителем оппозиции. Да, я не воевал. Но, тем не менее, первый президент Хорватии решил дать мне медаль за войну. Я, конечно, отказался. Сказал «спасибо»,

но объяснил, что, поскольку я в войне не участвовал, медаль принять не могу.

— Какой ты чистый человек. Нам бы таких политиков! А ты был на или в Украине? Подчеркиваю, не в Краине, а в Украине?

— В Киеве был. На какой-то конференции. И там всех приглашенных Кучма наградил медалями! Это 2002-й или 2003-й.

— И ты принял!

— Да. Но это же не за войну.

— У вас она закончилась. Продлившись семь лет. Значит, и русские с украинцами могут замирились через семь лет, как вы, то есть к 2021 году? Совсем немного осталось побомбить, повоевать... Мир настанет, дружба вернется?

— Не знаю. Это зависит от того, насколько решительно власть в России будет отстаивать свои интересы. И сколько Запад готов инвестировать в продолжение этого конфликта. Насколько я понимаю, сама по себе Украина ни для кого не важна — кроме, разумеется, украинцев.

— А вот между ситуацией в Донбассе и в Газе — видишь параллели? Стрельба из жилых кварталов... Чтоб ответным огнем разбомбили больницу и убили детей. Это хорошо продается на информационной войне.

— Я считаю, что не совсем легко тут сравнивать. Россия поддерживает ополченцев, оплачивает этих наемников, в рамках своей стратегической игры. На мой взгляд, сейчас ополченцы сравнялись с армией. А силы Израиля и сектора Газа — вообще не сравнимы. Да, есть террористическая организация ХАМАС, и к ней надо соответствующим образом относиться. Но проблема терроризма не решается военной силой, ее можно решить только полицейскими операциями.

— А как же полиция может бороться с ракетчиками?

— Я не знаю. Можно пользоваться спецназом. Но разгром домов, школ и больниц проблема террористов не решается.

— Ну вот! Приятно поговорить с умным человеком, который тоже, как я, ничего не понимает. Это, как минимум, поднимает самооценку!

Выпивка закончилась, до ночного магазина пилить 20 км, задора на это не хватило — и стало ясно: настало время прощаться.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Наша красавица в Европе

Много лет назад одна красавица — назовем ее Маня — уехала из мирного счастливого Донецка, который славился своим миллионом роз, на войну в Югославию. Уехала по большой любви, ну и что же, что война! Как нитка за иголкой. Сегодня там, в ее новой стране, прочный мир, это ухоженная комфортная европейская столица. Маня дает советы близким, оставшимся на родине, — как выжить в зоне боевых действий.

Мы наивно думали когда-то в 90-е, что югославский сценарий повторять не будем... Что у нас хватит ума на свой.

Я встретился с Маней в Загребе и выслушал ее леденящие кровь истории.

- Сейчас многие бегут из Донецка. Получается, что ты оказалась самая умная, ты заблаговременно уехала!
- Я тогда из мирного благополучного Донецка — уехала на настоящую войну. Что у нас такая будет, никто и представить не мог!
- И вот на ту войну в Югославию — не страшно было ехать?
- Я просто не соображала, что я делаю, куда я еду. Только уже приехав, поняла, что в стране идет война. Это понимание пришло в момент, когда я увидела колонны беженцев, я осознала, что про них не только в книжках пишут...
- Где это было? Как?

— Когда я приехали в Хорватию, муж попытался мне все-таки страну хотя бы немножко показать. Военные действия в некоторых местах шли, а в некоторых нет. Загреб, например, практически не пострадал. Тут было довольно тихо. Город всего пару раз бомбили. Попали только раз, бомба взорвалась недалеко от театра оперы и балета. Несколько балерин были ранены! Это 93-й год, лето. Мы взяли дочку, сели в машину и поехали к морю... Через Задар нельзя было проехать, там как раз шли бои, военные перекрыли дорогу, и мы пошли в объезд, проселками. И там встретили колонну беженцев. Кто-то на тракторе, кто-то на машине, но в основном — пешие. Мне стало сразу не по себе... Бежали сербы. Они боялись, не были уверены, что не пострадают. Когда военные увидели нас, они почертыхались и объяснили, что мы не туда заехали, и все. Там, в курортной местности, куда мы направлялись, как раз только что бой прошел, еще дымились дома, сожженные или взорванные. Как-то уже не до пляжа было, и мы повернули домой... В квартиру, которую муж купил на все деньги, что заработал на Украине. Она стояла пустая, пока мы жили в Донецке. Чтоб ее не реквизировали — а такое, как уже и донецким известно, часто бывает в зоне боевых действий, — муж пустил туда жить двух девчонок. Он сдал им квартиру дешево с условием: если мы приедем накоротко в отпуск, то будем жить с ними. А жизнь так сложилась, что мы приехали слишком быстро. У девчонок не было денег, чтоб снять где-то квартиру по нормальной цене, и они спросили: «Можно мы с вами немножко поживем?» Мы согласились. Тем более, что у нас не было ни ложек, ни вилок, ни тарелок, ни одеял, ни подушек, ни денег, чтоб это купить. Мы вместе пользовались имуществом квартиранток. Они — мои ровесницы, мы подружились, я у них училась хорватскому. Муж сидел без работы, его место заняли, пока он был в Донецке. Ему сказали: «Когда место освободится, мы тебя позовем, а пока что бесплатно жди». И он извозом подрабаты-

вал. Люди ехали куда-то работать, в Мюнхен, например, вот он их и возил туда. Вернется, пару раз переночует дома — и опять в поездку.

Война — там, в Югославии — началась в 1991 году. Ну, что о ней можно рассказать? Бросалось в глаза, что на улицах очень мало мужчин. Женщины все озабоченные, грустные, постоянно переживают — что там с мужьями, с сыновьями? А те приезжали иногда в город на отдых. По ТВ в новостях — постоянно про военные действия. Люди вокруг голодные, истощенные... Я понимаю, почему сейчас они не могут забыть и простить! Я знаю слишком много семей и сербов, и боснийцев, и хорватов, — у которых кто-то погиб. Это очень тяжело. Не могу представить, как это сейчас на Украине... Наверное, там гораздо сложнее. Здесь, в бывшей Югославии, хотя бы ясно было: Сербия не соглашалась на выход Хорватии из состава Югославии, из-за этого началась война. Страшные вещи тогда здесь творились, но, по крайней мере, понятные. А в Донбассе что? Ведь не Россия же с Украиной воюет.

Я помню: когда в Донбассе только началось, мама мне ничего не говорила. Она всегда меня уверяла, что все нормально, по телефону вообще про войну не разговаривала — старая школа! А мои подруги в Донецке что-то рассказывали. Правда, каждая давала свою версию, в зависимости от взглядов. Но все сходились в одном: «Никогда не знаешь, где в следующий раз шарахнет!» Они задавались вопросом: почему украинская сторона не реагирует, почему никто ничего не предпринимает, чтобы это остановить? Потом в открытую стали приезжать люди из России. Это же не была регулярная армия вначале, а просто люди, которые зарабатывают на войне. А после, как я себе представляю, и некоторые местные там решили: стреляют одни, стреляют другие, ну и мы возьмем оружие, будем защищать своих.

— Насколько похожи эти войны, хорватская и украинская?

— Я думаю, что наша страшнее.

— Наша — это какая из двух?

— Украинская.

— А что тут в войну было со снабжением?

— В столице все было. Никаких перебоев — ни с питанием, ни с электроэнергией. А беженцев было много. Их тут, в отличие от Украины, очень организованно принимали. Какие-то гостиницы под них переоборудовали, иногда, очень редко, в школах селили. А туризм продолжался! Иностранцы, да и свои тоже, ездили отдыхать на побережье, тем более в некоторых местах войны вообще не было. У нас много островов, до которых военные действия не докатились!

А какие-то города сильно пострадали, больше других — Вуковар. Задар тоже. По Дубровнику капитально постреляли. Приграничные районы были разрушены, сожжены. А вот Сплит не пострадал, там военных действий не было. В Истрии практически не было войны.

— Но в стране война шла. А ты, тем не менее, оставалась здесь.

— Да, оставалась... Границы то закрывали, то открывали, выехать, в принципе, можно было... Но я как таковую войну так страшно не почувствовала. Да, когда дочка ходила в детский сад, их, детей, иногда водили в бомбоубежище. Трясешься, естественно, думаешь — а вдруг упадет? Но — не упало.

— Думаешь, сейчас в Донецке хуже?

— Там сейчас гораздо страшнее. Там, наверное, сейчас так, как было в войну в Вуковаре. Там тоже свой на своего шел, слишком смешанные жители были.

— А какое еще сходство?

— Озлобленные, несчастные люди — вот тебе и все сходство... И у них на ближайшее будущее нет никаких планов, потому что планы строить нельзя, нет смысла. Как мои родители могут сейчас что-то планировать? Они не знают, где они умрут...

Родители мои ко мне сейчас с Украины ехать не хотят. Да и не могут. Я понимаю, что, как бы я ни звала — без медицинской страховки здесь будет очень тяжело... Я, ко-

нечно, на все для них готова — но вряд ли я смогу им тут обеспечить нормальную жизнь. Хотя, пережив войну, понимаешь, что дом, квартира, материальные вещи — это не самое важное. Ты знаешь: все это в один момент может исчезнуть.

— Это, прям, философия...

— Наверное, мы к концу жизни все к этому приходим, но война ускоряет процесс понимания каких-то вещей. Потом уже гораздо меньше вещей, которые могут тебя испугать. Только надеешься, что здоровье будет и ты все сможешь сам. Вот и все...

С Украины я уехала так.

Дочка очень сильно заболела. Ей было два года. Мы мотались с ней и с мужем между Загребом и Донецком, они тогда друг друга стоили, ни там, ни там не было нормальной жизни, война и разруха — или просто разруха. В то время в Донецке уже постреливали, это была не война, а тогда — просто бандитские разборки. Все помнят, что были ребятки, которые собирали дань со всех торговых точек... Я тогда попала в больницу с аппендицитом. И доктор сказал: «Слава Богу, что в мою смену хотя бы первый нормальный больной, а не со стреляной раной или ножевым ранением». Люди тогда к другому привыкли. Обычный случай — по улице Артема едет машина, останавливается, подъезжает еще одна, пассажиры достают «калашниковы» — и бьют очередями... Потом я вышла из больницы — у дочки подскочила температура, начались субфебрильные судороги, в таких случаях у маленьких иногда останавливается сердце! Буквально — клиническая смерть. Иногда дети выходят из этого состояния, иногда — нет. И вот это случилось с моим ребенком! Я в панике ее схватила, стала трясти, я пыталась прийти в себя, я осознавала, что держу мертвого ребенка, что это уже просто труп каменный у меня в руках... Муж в это время вызывал скорую, а ему по телефону говорили: «Сначала научитесь говорить по-русски, а потом звоните». Совершенно такое черствое отношение. И один

доктор, у которого в машине была включена радиосвязь, услышал на заднем плане, как кричала я. Я орала, я пыталась оживить своего ребенка. И доктор услышал эти мои крики и как муж диктовал адрес. Слава Богу, в это время он проезжал буквально в квартале от нас. Он повернул к нашему дому и побежал к нам. Открывается дверь — и в этот момент с ребенком что-то произошло! Вот только что я держала труп — и вдруг почувствовала, что в теле жизнь появилась. Дочка пришла в себя и заплакала. Доктор привез нас в клинику, надо было взять анализы и сделать что-то, чтоб это не повторилось. И тем более ему было непонятно, что произошло. А это январь 93-го, минус 30, и как раз на каникулы детский дом прислали в больницу как в пионерский лагерь — и выключили отопление. Я сижу с дочкой на руках на кровати, закутанная в шубы, одна моя, другая ее, и ее периодически рвет. Подскакивает медсестра и вопит: «Кто это стирать будет!?» А я сижу и смотрю, дышит девочка или нет, считаю, сколько раз ударило сердце, сколько раз она вздохнула. Утром Настя просыпается, встает, обувает валенки и говорит «Я пошла домой... Ты идешь?» И тут наконец-то, после того как мы прождали всю ночь, входит первый доктор и вопит «Мамаша, вы шо с ума сошли!? Вы куда? Вы знаете, какие могут быть последствия? У вас ребенок может стать дебилом!» Я ему говорю: «Знаете, за всю ночь к нам никто ни разу не подошел. Мы уходим. Как будет, так и будет». Утром мы вышли из больницы, а вечером уже были в поезде. Я только молила Бога, чтоб с ней чего-нибудь не случилось в дороге, чтоб я себя потом не проклинала всю жизнь за то, что увезла ее. И вот мы поехали: Донецк — Киев, Киев — Будапешт, Будапешт — Загреб. Через двое суток выхожу в Загребе — и сразу в детскую больницу. Буквально сразу начинается обследование. Ну, слава Богу, все обошлось. Жизнь наладилась. Правда, тут война шла полным ходом...

Семья наша никогда легко не жила. Мама моя — детдомовская. И ее брат тоже. Характер у нее такой тяжелый

наверняка из-за этого. Она — дочь «врага народа». Почему — враг народа? По какому пункту? Мама не знает. Бабушка умерла. Наверное, знал дядя, брат мамы, но он сейчас в психиатрической клинике.

Он копался в документах, искал что-то о семье. А маме запомнилось: об этом разговаривать нельзя, об этом рассказывать нельзя...

Отца забрали, мать умерла, но оставалось много теток. Только тетки эти никогда не приходили в детский дом, потому что боялись. Маме было семь, а брату — два. «Спасибо Сталину, спасибо Родине», — это хором после каждого завтрака, ужина, обеда. И вот она, хилая, сентиментальная девочка, должна была бороться за брата, защищать его, кормить, помогать. Если у него туфли дырявые, значит, надо что-то делать, выменивать на что-то хорошие. Мама, когда уже вышла из детского дома, — разыскала отца. «Врага народа». Его уже выпустили. Она пришла к нему и увидела, что это какой-то издерганный, пожилой человек. Который... сильно испугался. Думал, она у него что-то просить будет, она тоже все-таки ребенок еще была. Отец сразу сказал дочке: «Что тебе надо? У меня ничего нет». Она обиделась и ушла. Вот и все.

К тому времени, когда она выросла, родительский дом продали, а ей тетки подарили серебряные позолоченные часики, сказали: «Вот тебе, от твоего дома осталось». И еще — маленький коврик перед кроватью и икону. Недорогая икона, простая, с жестяным окладом. Мама эту икону дала мне, когда я уезжала из страны. Вот, в принципе, все, весь ее багаж, когда она выросла. Она вышла замуж по любви, но ее первый муж, к сожалению, очень серьезно страдал алкоголизмом, как только впадал в запой, то просто все человеческое исчезало, и он ее очень сильно бил. Мои первые воспоминания — это просто жуть какая-то. Помню, я прячусь в шкафу и оттуда смотрю, как он ее бьет... Маме такое досталось! Чтоб сохранить при такой жизни нормальную психику и человеком остаться, надо иметь характер... У моего мужа отец тоже сидел. Юго-

славия! Что-то там было как у нас. Я как-то привыкла, что на моем пути встречаются люди со скомканными судьбами. Но, наверное, они самые стойкие. Самые нормальные люди.

Мой отец, когда они с мамой разошлись, в первые годы приезжал проведать меня, а потом перестал. Ни открытки, ни привета, — ничего. Он исчез. Потом я его случайно нашла, у него уже была новая семья. Я приехала к нему как-то, и я подержала на руках его сына. Все эти годы я точно знала, что у меня есть брат, я не забыла это ощущение, когда ребенка держишь на руках. Я нашла его непосредственно перед тем, как вся эта заваруха в Донецке началась. Он живет в украинском селе. Мы начали писать друг дружке. Он такой правильный мальчишка, писал мне, когда еще был мир: «Знаешь, сегодня мы будем убирать хлеб. Дом я построил, детей родил, у меня все как у людей». Когда все это началось, он мне начал писать: «Ты не волнуйся, все будет в порядке, если вдруг что, ты обязательно напиши, пусть твоя мама с сестрой собирают вещи, у нас в доме места достаточно, мы их встретим, мы их здесь устроим. Если меня позовут в армию, я увильнуть не буду. Если надо, и туда пойдём».

Знаешь, когда проживаешь жизнь, то какие-то маленькие моменты складываются в мозаику. Она очень необычная... Мы же с религией практически незнакомы, насколько ты помнишь, в Донецке церковей не было. Это потом их начали строить. Я в детстве на службе ни разу не была. Да и сейчас только с дочкой хожу, причем в католическую церковь, — просто чтобы ей компанию составить, когда она хочет, по редким праздникам. Но ты вдруг все больше что-то понимаешь, в религии тоже.

Есть что-то гораздо шире нас, за пределами и сегодняшнего дня, и завтрашнего... Я все-таки верю, что какая-то высшая правда существует. И есть что-то общее у религии с коммунизмом.

— Между ними есть принципиальное отличие.

— Церкви от коммунизма? Какое?

- В церкви так: ты хочешь — верь, не хочешь — не верь. А с коммунизмом иначе: «Ах, тебе не нравится? Так сейчас мы тебя застрелим или посадим, падла!» А в остальном немного похоже, да.
- Пожалуй, ты прав! Я вообще-то абсолютно против коммунизма. Вот сейчас у нас тут выборы были, и появился какой-то молодой человек, с юношеским идеализмом или уж не знаю, как это назвать. Он говорит: «Вот, нас обкрадывают, нас обворовывают! Посмотрите, какие бандиты, какие аморальные люди у власти сейчас! Давайте, голосуйте за нас, мы защитим тех, кого выселяют за долги банкам! Когда мы будем у власти, мы с ними разберемся, мы им всем покажем!» И так далее. И ты смотришь, слушаешь, и думаешь: «Не дай Бог, не дай Бог!» Все больше в мире выскакивает вот таких маленьких радикальных партий, которые очень-очень-очень близки к тому, что мы в 17-м году проходили. Они говорят одно и то же: «Мы все заберем, сейчас мы всех уравнием, всех, кто мешает, посадим или что похуже!» Это все уже было, и ничего хорошего из этого не вышло. Когда-то я нашла старую мамину хрестоматию, по которой она в школе училась, и там была статья Сталина. Я спросила: «А кто такой Сталин?» И мама мне не ответила, сказала: «Не задавай глупых вопросов, отдай эту книжку, где ты ее нашла?» Я говорю: «Это же твоя». «Да это мусор, сейчас мы это выкинем!» Я не могла понять, чего она боится... И я помню, какой скандал был, когда мой отчим разводился с первой женой, собираясь жениться на моей маме. Я помню, они много тогда про это говорили: исключение, предупреждение и прочее.
- И чем кончилось?
- Он женился на моей маме. Но начальником уже больше никогда не был.

Как анекдот история. Это было в те времена, когда зарплаты месяцами не платили, и бартер начался. Однажды принес отец телевизор, цветной. А это вещь дорогая! Мы его

видели только в богатых домах. У нас дома был черно-белый, старый-старый, и он к тому же давно сломался, не показывал. И вот отец говорит маме: «Смотри, нам зарплату выплатили телевизорами!» А она говорит: «Валера, ты коммунист, и ты мне пытаешься рассказать, что вам зарплату телевизорами платят! Ты соображаешь, что ты говоришь? Такого быть не может. Ты знаешь, сколько телевизор стоит? Почему мы его до сих пор не купили? И вдруг ты его мне приносишь вместо зарплаты. Я никогда не думала, что мой муж в один прекрасный день начнет воровать... У тебя есть два выхода: или ты сейчас же его выносишь из этой квартиры, или я его выбрасываю с балкона».

Он говорит: «Дорогая, я тебе клянусь, все честно! Ну, позвони этому, позвони тому, — мы все телевизоры получили». — А рабочие тоже получили? — «Нет, рабочие не получили, но у них и зарплата меньше». — Ах, не получили? Значит, вы еще и их обворовали!

Когда зарплату давали крупной или курами, мама это еще как-то переваривала, но телевизор — это было для нее слишком...

Ну, в общем, этот телевизор простоял два года нераспакованный. Все это время мы с сестрой жадно посматривали на эту коробку, потому что уж очень хотелось посмотреть телевизор. Родители долго не разговаривали друг с другом. Пока отец не убедил маму, что это нормально, что это честно. Распаковали коробку... Оказалось, что телевизор внутри был иностранный какой-то и там надо было перделывать какие-то коды. Он и по сей день стоит в нашей старой квартире...

Отчим с мамой много лет работали на стройках, переезжали с места на место. У нас был маленький домик, его разбирали на две половинки, потом на КАМАЗы погрузили и везли на новое место. И там собирали — делали какое-то основание и ставили перегородки картонные между комнатами. А потом ради детей отчим решил перейти к оседлому образу жизни. Детям же нужно образование. И вот

мы переехали в Донецк... Дом наш стоит прямо возле железнодорожного вокзала. Из окна был вид на поезда, которые подъезжали к депо и к вокзалу. Все эти объявления «Прибывает на второй путь...» слушаешь... Первый год было чувство, что ты просто на полке в вагоне спишь. Потом привыкаешь и совершенно не реагируешь.

Сестренка у меня на тринадцать лет меня младше. Намного. Поэтому я ее иногда воспринимаю как сестру, а иногда как ребенка, старшего. В первом классе, как только она пошла в школу, после первого учебного дня с ребятами играла на стройке — и соскользнула в глубокую яму. И на нее сверху попадали еще балки железнодорожные, которые там вокруг лежали. Никто не рассчитывал, что там детвора будет бегать. Слава Богу, что сосед какой-то проходил, он услышал, как дети кричали. Они не испугались и не спрятались, а стали звать на помощь. Привезли ее в больницу. Когда приехали в приемное отделение, маме сказали: «Мы вашу больную принимать не будем, не хотим увеличивать смертность в нашей смене. Она — не жилец, видите, вся переломанная». Основание черепа было сломано и спина во многих местах... А ребенку — семь лет. Мама плачет, ей говорят: «Прекратите, замолчите, вы мешаете нам работать! У нас пациенты, вы их расстраиваете. Ну как же вы сами не понимаете? У нас из-за вас смертность увеличится, мы отвечать будем». И мама потихонечку тогда плакала, чтоб особенно не видно было и не слышно, как она привыкла. Тихонько сидит и ждет — что-то да будет. Я прибежала с работы, посмотрела на это, понятно, в каком состоянии я была, и закричала: «Да что это такое, какие ж вы гады! Фашисты!» Но мама сказала: «Дочка, не вмешивайся... Тихо, тихо, тихо, от них же жизнь зависит». Потом им уже просто неудобно стало. Или стыдно. У них же тоже сердце есть. Ребенок все-таки. Они сказали: «Ну ладно, раз уж вы такие упертые, давайте, примем девочку». Приняли... Через четыре часа. Потом все было нормально, как у всех, периодически принесешь взятку... Денег нет, значит, принесешь курицу, какую-нибудь книжку хорошую, которая за макулатуру. Коньяк, шампанское...

Сестра, как только пришла в себя, глазки открыла и говорит: «Мама, прекрати плакать, я уже большая. И я слышала, что доктора сказали. (Что нужно будет год лежать.) Я буду тихонько-тихонько лежать, я двигаться не буду, ты не волнуйся». И она действительно лежала тихо. Вытащили ее, выжила, не сдалась. Я иногда маму подменяла, но в принципе девяносто, восемьдесят процентов мама «высидела» ее...

Работала я тогда в НИИ. И была там единственным на весь институт человеком, который видел своими глазами персональный компьютер. Это конец 80-х. Когда нам туда привезли три ЭВМ, начальники, они были большие математики, позвали меня, девчонку, и говорят: «Слушай, мы, конечно, знаем много о программировании, но живой компьютер ты хоть видела, в отличие от нас. Вот их три, видишь? Отдаем тебе. Два можешь разобрать и сделать с ними все, что ты хочешь, а третий должен работать». Таким способом люди учились работать на компьютере. Я прочитала инструкцию. Ну и в Политехе у нас что-то преподавали. Я в итоге разобралась, и они работали все три в конце концов. Помню, мы, когда первую мышшь получили, она была одна-единственная на весь НИИ, и только инженеры имели право к ней прикасаться. Причем у каждого был свой день, когда можно с мышкой работать. То есть компьютер можно было брать, а мышку — ни-ни. На этих компьютерах просчитывали зарплаты и проекты. И еще халтурку мой директор делал, рассчитывал, как влияет курение и работа в шахте на легкие. Кто-то на эту тему диссертацию писал. Я забивала все это в компьютер. Рядом там стадион «Шахтер» и теннисные корты — кстати, на тот момент лучшие в Европе.

Сестру вылечили, поставили на ноги, но оказалось, кости неправильно срослись. Одна нога короче, другая длиннее. А когда ее обнимаешь, то чувствуешь, у нее такая ступенечка, где грудная клетка, правая часть больше выступает,

чем левая. Она вообще слабенькая была. И, естественно, первый год в школу никак нельзя, второй — тоже нельзя, третий — тоже, и до конца десятого класса врачи так и не разрешили ей идти в школу. Так учителя приходили к нам домой и давали ей уроки, — это, кстати, оплачивалось. А остальное она пыталась восполнить сама. Много читала! И в конце концов квартира вся была завалена книгами, они лежали от пола до потолка. И преподаватели к последним годам ее учебы просто боялись приходиться, потому что она «глотала» все, что ей под руку попадало, и знала ужасно много! И задавала слишком много вопросов. Она выросла красавицей! Ты ее если увидишь на улице — так это ж просто замечательная девчонка молодая! Ноги из ушей растут, энергичная, звонкая вся.

Надо сказать, что сестра моя по-украински не говорила. Как-то в Донецке мало кто говорил на мове... Я почему об этом? Потому что, когда сестра захотела поступить в лицей, ей сказали: «Ты как хочешь, но больше всего мест на украинском, и там платить не нужно будет». Она сказала: «Ради Бога! Я согласна». Закончила на украинском языке, выучила его по ходу дела — причем так хорошо, что ей сразу без экзаменов позволили «проскочить» в университет. Закончила и его... Осталась в Донецке. Потом это все началось... Звонишь сестре и маме, спрашиваешь: «Как у вас?» «У нас все хорошо». «Ну, как же — хорошо? Я ж столько смотрела, показывали аэродром в Донецке, у вас там бомбы падают, у вас стреляют». Они говорят: «Это не у нас, это далеко, это все успокоится. Ты не переживай». И вот так каждый раз: «Все в порядке, все в порядке...» Когда уже совершенно конкретно по телевидению показывали разбомбленные дома, я позвонила, а они говорят: «Мы сейчас не можем разговаривать, давай завтра с тобой услышимся». Потом выяснилось, что они как раз двинулись в Мариуполь, когда уже совсем невмоготу стало. Мама, отчим, сестра с мужем... Они поехали в Мариуполь в надежде на то, что все это продлится на худой конец максимум месяц и все быстро утрясется. Это

ж не может быть нормально, чтоб стреляли на улицах, чтобы окна выбивало снарядами! В Мариуполе просто жили и ждали... Работать негде было. У сестры даже документов с собой не было. Были только копии документов в компьютере, который захватили с собой.

По сравнению с другими людьми, наверное, они хорошо очень устроились, потому что сестра работает, она каждый месяц получает зарплату.

В Донецке квартиры сейчас просто отбирают. ДНР объявила: «Кто здесь не живет, жилплощадь переходит по надобности кому-то из наших представителей». Для того чтобы квартиру не потерять, маме моей приходилось каждый месяц пробираться в Донецк, чтобы заплатить наличными в ЖЭКе. Пробирается она так: на поезде до Константиновки, потом садится на маршрутку или на автобус, все это — частное, и едет — уж куда доедет. То ли до Макеевки, то ли еще куда... Как-то добирается, люди ж ездят...

Квартиры там у них две — одна сестренки, другая их. Одна из них полуразрушена: снаряд залетел через балкон, пролетел через зал в спальню — и вышел через лоджию. В квартире не взорвался, к счастью! А дело в том, что дом стоит на прямой линии — если ее провести от аэропорта к железнодорожному вокзалу. Там, кстати, роскошные виды: с лоджии смотришь напрямую на шахту Засядько, а с балкона — на шахту Панфилова. А вторая квартира, где жила сестренка — сохранилась лучше, там только стекла выбиты взрывными волнами. Беда в том, что она кооперативная. С недавних пор за нее перестали принимать платежи в ЖЭКе. И с этим сейчас проблема... Теперь это не украинская квартира, она проходит по ведомству Донецкой народной республики. Что делать — непонятно...

Я хотела им денег послать, но они меня отговорили, боятся: люди увидят, что им из-за границы что-то прислали, так еще хуже будет. Им и так тяжело, потому что они ж с Донецка. Беженцы... Я им звонила и советовала, что делать, у меня же есть опыт, я же здесь в войну жила... Все мои друзья сразу же прибежали с советами: «Сообщи им

сразу же, чтобы знали, где находится первый «Красный крест», неважно, даже если нет паспортов! Когда их вывезут, ты их найдешь в любой стране, если не в Хорватии, то где угодно»... Но беженцев как таковых же не существует на Украине, это все — переселенцы. И нету «Красного креста», нет статуса беженца, нет военного положения. Мои советы не помогли... Сейчас им немножко полегче, потому что получают уже два месяца компенсацию за снятие жилья. И вот когда они втроем все это складывают, у них хватает денег заплатить за квартиру и худо-бедно дожить до конца месяца, питаться.

ИТОГО

- Сейчас модно говорить про отъезд в эмиграцию... Ты многих опередила. Твои подруги, небось, говорили и говорят: «Вот какая хитрая, какая умная! Давно все поняла! А мы только думаем сейчас уехать».
- Некоторые так говорили, да. И я держу марку, говорю, что у меня все класс, все хорошо. А на самом деле... Когда ты приезжаешь в чужую страну, без ничего, нищий, у тебя нет ничего — и ты вроде как «Христа ради» у кого-то берешь. Это очень сложно... Ты приезжаешь не из Зимбабве, но все равно твой уровень гораздо ниже того, к какому эти люди тут привыкли. А ты — бедный...
- Сейчас у вас тут в Хорватии тихо, спокойно? Стабильность? Ну, настоящая в смысле.
- Нету здесь стабильности... Нету. Хорватия — далеко не стабильная страна. У нас здесь очень, скажем так, очень нестабильные, неустоявшиеся законы. После войны я не помню ни одного правительства, которое бы как-то вырубивало. Но, по крайней мере, сейчас тут на улицах не видно людей с автоматами! Нету напряжения. Загреб — очень спокойный город. Очень спокойный. Сейчас.
- Сейчас везде нестабильность. Донбасс — это часть какого-то мирового процесса.
- Да. Никто не может понять, что происходит в мире.

- Вот ты в Европе, с документами. А там люди где-то сидят в Донецке и думают: «Господи, хоть бы где-то пристроиться, в России или в Кировограде».
- Да, я чувствую спокойствие. Мой ребенок не в зоне боевых действий! И еще думаю: «Слава Богу, что дочка живет в стране, где все-таки демократия!» Я поняла, живя за границей, что демократия очень важна. Когда приезжали наши друзья с детьми из России, скромные такие, тихие, и моя дочка им объясняла: «Вы свободные люди, не комплексуйте, надо быть поувереннее, у вас есть права!»
- Твоя дочка — хорватка?
- Да, она абсолютно хорватка. Хотя я постоянно, естественно, ей напоминаю, что она украинка. Вначале она приходила из школы и плакала, ее задирали все. Чей-то папа приехал с Украины, он там работал, и сказал дочке, чтоб она мне передала привет. Наверное, он там с украинскими женщинами слишком свободно обращался. Я посоветовала дочке тогда сказать, что я с тем папой не знакома...

Когда у нас (это про Украину) был мировой футбольный чемпионат? В 2012-м? Я приезжала тогда, была в Киеве и в Донецке. Ездила с мужем и с дочкой к своим. Мы приехали в Донецк, а мама нам подарила заказанную гостиницу на два дня и билеты на самолет в Киев. Поездка туда для моей дочери очень много значила. Я это видела по ее глазам. Она была очень удивлена! Осознала, что она все-таки настоящая украинка, вдруг почувствовала какую-то национальную гордость. Я видела, как меняется ее восприятие Украины.

- А много ли тут у вас русских (и украинских) жен?
- Очень много. Очень много! Я знаю много и русских, и украинок, но общаюсь с ними мало... Я всегда очень сильно занята, если я где-то работаю, то это работа под завязку. Но все равно успеваю общаться с общиной и русской, и украинской. Русские — более молодые иммигрантки. Многие из них приезжают, выйдя замуж, ставят такую цель, иногда — по письму. Редко кто по ра-

боте. Я бы вообще законом запретила так вот просто за иностранца выходить! Нужно сначала обязательно приехать в страну, хотя бы немножко узнать и об этих людях, и о культуре, о традициях, а потом уже принимать решение — выходить замуж или нет. Мне тут сразу сказали: «Так, вот это можно, вот это нельзя, ни в коем случае не стучи к соседке, не проси соль». Это муж видел на Украине и потому сразу меня предупредил. И сказал: «Прекрати, как идиотка, ходить по городу и улыбаться». Мы как-то привыкли все вместе жить, а тут — другое... Мы здесь выглядим слишком патетично, мы выражаемся слишком витиевато, мы слишком громкие, мы слишком нарядные, мы не настолько элегантны, мы не настолько отмерены. Отмерены — это значит, у нас не все уравновешенно, перебарщиваем очень часто, перегибаем. В общем, мы очень сильно выделяемся здесь. Сильно торчим, нас все время хочется как-то как бы подстричь... И поэтому, когда я приехала, то не хотела сразу принимать гражданство, во время войны его легко давали. Этого мне не простили. А я просто хотела себя более независимо чувствовать, чтобы я ни у кого кусок хлеба не отбирала. Гордые мы, наверное... А потом, когда я созрела, — пришлось ждать много лет. Вторая моя ошибка была — я не научила Настю говорить на русском языке. Я подумала — нехорошо, я детей изолирую, если буду с ней говорить по-русски. Она русский знает, но — плохо очень. Какие еще сложности? Тут сперва спрашивают: «А откуда вы приехали?» Ты говоришь, что из Украины. «О, а что ты здесь делаешь?» Сразу выпадает «вы» и появляется «ты», даже у официальных лиц... Много было таких ситуаций.

- Ты, наверное, думала: «Все брошу и поеду домой в Донецк».
- Много раз такая мысль приходила.
- Женщине, наверное, все же легче переносить унижения. Неизбежные в эмиграции. (Если нет денег.) Мужик бы стал драться...

— Так очень часто хочется кому-нибудь двинуть, но не можешь же, ты же все-таки дама. Чем больше тебя унижают, тем больше у тебя желания показать, что ты все-таки выше их. Когда никто не видит, можешь тихонечко соплю распустить, а потом прийти в себя и выйти к людям как взрослый человек.

Сначала, да, было трудно в эмиграции, но сейчас для меня неважно, где я живу, в какой стране. Хотя мы, конечно, потерянные. Люди, которые родились и жили в одной стране, друг друга понимают с полуслова. У меня же тут этого нет. Когда тебе, например, тошно, ты в Москве можешь к другу сходить или просто побродить по знакомым улицам. А у меня тут нет улиц, знакомых с детства, по которым я пройду — и мне легче станет, тут вспомню что-то, там... И тут никому не интересно, что я там в той жизни когда-то выучила, что я там видела, как начиналась моя жизнь, какие у меня друзья были, как ко мне в школе относились. Тут ты, в принципе, все с нуля начинаешь. А что до нуля — тот период остается пустым. И ты должен постоянно что-то доказывать, ты должен быть на несколько порядков лучше местных, чтобы на работе тебя ценили, чтобы тебе вообще работу дали. С одной стороны, это хорошо, потому что у тебя есть какой-то стимул — дальше, дальше, дальше расти, развиваться. Но, с другой стороны, иногда это утомляет. Очень часто такая тоска накатывала, что, бывало, русского увидишь и думаешь: «Боже, родной!» Подбежал бы к нему и просто на нем повис. Это было, а сейчас такого нет.

Я хотя и инженер, а тут работала на очень простой работе. Например, продавщицей в магазине... Это такая тоска зеленая! Когда приходит покупатель, я ему должна продать тарелку или какую-то дорогую модную глупость. Вот он входит, а я думаю: «Ну кому это все нужно?» Но люди на это время тратят и деньги, на ерунду. Хочется спросить: «Зачем вы пришли? Зачем вы теряете время в этом магазине?» Но, естественно, я встряхиваюсь и убеждаю себя, что надо делать свою работу... Хотя я чувствую, что ужасную

глупость делаю! Я прихожу домой совершенно изможденная. Это и физически нагрузка страшная, но я и психологически просто пустая прихожу. Прихожу домой и тупо смотрю в стену, и говорю: «Боже, когда это кончится...» Целый день надо провести стоя. А если клиентов нет — все равно не разрешается присесть. Надо или товары переставлять, или вытирать пыль... Тебе говорят: «Это туда, это сюда, это рядом с этим или с тем». И ты понимаешь, что это безвкусица, что это глупость, что в этом нет никакой логики. Но ты привыкаешь. Думаешь — ладно, она начальник, а я... Все же понятно. Мне легче сидеть без зарплаты и жить на гроши.

Интересно, что хорватский очень похож на украинский. В Хорватии очень многие говорят на наречиях, редко кто на литературном языке. Кто знает меджимурское наречие, с теми можно говорить на украинском, это очень похоже! И старохорватский похож, его понимают многие старики... Они говорят, как и украинцы — *цвинтар*, а на литературном языке «кладбище» — это *гробля*.

Мне тяжело сейчас по-украински говорить, после хорватского. Мне так стыдно! Тем более после всех этих событий мы с подружками-украинками, с которыми раньше говорили по-русски, теперь перешли на украинский. Причем как-то сразу, не сговариваясь. Это был такой *револт*, ну... протест. Это случилось, когда первые столкновения в Донецке начались. Когда запретили русский язык, мы пытались всем доказать, что это неправильно — и говорили исключительно по-русски. Мы пытались всем доказать, как хорошо мы знаем русскую культуру, русскую литературу. Как только обратный процесс пошел, — мы вдруг начали тут со своими говорить по-украински. На украинском очень тяжело сейчас говорить, потому что слова похожи, а я настолько привыкла к хорватскому, что я вворачиваю подсознательно, не замечая этого, хорватские слова в украинскую речь — и не замечаю этого.

— И что же ты в итоге, после всего, можешь сказать людям, которые думают: «Надо ехать в Европу, за границу»?

Есть такое настроение у некоторых: «В России/Украине ничего хорошего не будет, там совок, никакого будущего, нужно валить».

- Я даже не знаю, что посоветовать. Я-то случайно уехала. В принципе я мужа не выбирала, вот так случилось, что он оказался иностранцем.
- А кто же выбирал?
- Просто он оказался иностранцем, и надо было ехать за ним, где бы он ни жил. Если бы он жил в Африке, я бы поехала в Африку. Но я думаю, что все-таки легче дома. Действительно, дома и стены помогают.
- Даже на войне?
- Даже на войне. Потому что война рано или поздно заканчивается. Ты все-таки оказываешься вместе и в беде, и в радости с теми людьми, которые рядом с тобой живут. И вместе как-то дальше вы все преодолеваете. Гораздо тяжелее на войне оказаться с людьми, которые не так тебе хорошо знакомы. (Это я про югославскую войну.) Но да, я понимаю людей, которые уезжают, спасая детей. Ведь никто не знает, когда это сумасшествие закончится. Я, когда читаю сообщения о новых законах русских, то понимаю: вот единственное место, в котором я совершенно определенно в настоящий момент не хотела бы оказаться — это Россия. Наверное, людям там страшно, им кажется, что они вернулись в старые времена, когда неизвестно было, ты в психбольнице закончишь свои дни или в тюрьме.

Если бы не дочка, не муж — я бы поехала на Украину. Чтоб быть рядом с мамой и с сестрой. Все-таки есть какое-то чувство, что, когда ты рядом, можешь хоть чем-то помочь. Думаю, у каждого нормального человека такая реакция: когда кто-то близкий далеко и что-то случается, тебя всегда кажется, что если бы ты был рядом, то помог бы...

Поехать на Украину, вернуться — да, бывают такие порывы. Но я не еду. Пока. Когда дочь выйдет замуж, когда не станет мужа, — тогда я, наверное, буду думать, что де-

лать дальше и куда мне ехать. Все будет зависеть только от дочери. От того, насколько я ей нужна буду. Мало ли как жизнь сложится... В принципе, мне совершенно неважно, на Украине я живу или в Хорватии. Главное — чтобы это не какая-нибудь незнакомая страна, чтоб вокруг не были совершенно новые люди, устала я от этого. Для меня гораздо важнее — рядом с кем, а не где. С годами привыкаешь к тому, что нету у тебя своего дома. Ты можешь жить в любой части света. Я уже даже и не украинка. Приезжаю я в Донецк, вижу со знакомыми и понимаю, что я уже другая, и они другие, у нас очень мало общего, только юность и детство. Даже самые ужасные ситуации, которые тебе сегодня кажутся несправедливыми, страшными и которые тяжело выдержать — проходят, и через много лет ты вдруг понимаешь: если бы этого тогда не случилось, то и чего-то хорошего никогда бы не было. Все, что ни случается, — все к лучшему. И все-таки как-то жизнь да сложится...

ХРИСТОС ОСТАЕТСЯ В ДОНБАССЕ

Однажды — между первым и вторым майданом — в ходе визита на историческую родину я зашел в гости к знакомому донецкому коллекционеру. Выпить самогонки с товарищем моей молодости на берегу Кальмиуса (раньше известного как Калка). Выпить — но также и приобщиться к прекрасному, к вечному. У него в кабинете на стенах есть кое-что заслуживающее внимания — пара эскизов Бенуа, один рисунок самого Гогена, и один — Нестерова, а еще неплохая работа Коровина, вариант одного известного сюжета. Это то, чем он гордится. А есть же еще и из советских, Чуйков, к примеру, с какими-то картинками из знаменитой своей киргизской серии.

Из экзотики — еще и портрет Высоцкого, не нашего, а иностранного, дворянина, участника какого-то из польских восстаний, которые, как некоторые помнят, следовали одно за другим и в итоге навеки увели от нас Польшу, и она ни за что не захочет с нами дружить. Высоцкий этот чуждый, работы некоего Пьетро, забыл фамилию — был из коллекции графа Иловайского, он остался в Донбассе с большевиками и дожил до глубокой старости, я застал его, он ходил по городу во френче и в высоких сапогах, будто ничего не случилось... Это было в 60-е, я уже, кажется, пошел в школу.

— А это кто? Что-то знакомое...

— Не, это не Шишкин, как тебе могло показаться, а копия, правда, довольно старая. Я ее выменял в Киеве у одного коллекционера.

- Медведей тут только нету. Хотя, с другой стороны, он их и не умел рисовать. Мне нравится история, как он нанял специалиста, чтоб тот ему пририсовал медведей. Хвастать, конечно, нечем тут было особенно... Медведя не отважиться нарисовать!
- Нет, там все не так было! Наоборот! Это художник Савицкий написал медведей, а лес у него не получался. Он попросил Шишкина помочь, и тот все сделал, как надо. Савицкий глянул на ту красоту, что получилась — и говорит: «Извини, я не могу теперь поставить свою подпись, потому что ты создал шедевр, так что ставь ты свою!»
- Ну а че, медведя любой нарисует, а вот сосны поди еще изобрази! Тут талант нужен...
- Шишкин много писал по заказу для сахарозаводчика Терещенко, который в Киеве жил. Большой был коллекционер! И теперь благодаря ему в Киеве имеется богатейшая коллекция Шишкина. Так вот, подлинник хранится в Киеве, а какой-то художник с разрешения Терещенко сделал копию. Большая получилась! Я когда ее вез из Киева, так взял целое купе, и она вписалась в дверь по диагонали — с точностью до миллиметра. Еще чуть — и все, пришлось бы «Газель» брать.

В Москве я, конечно, тоже захаживаю к художникам и коллекционерам (чтоб послушать их рассказы о великом, о не очень корыстном служении искусству), но в русской столице они сами собой разумеются. Другое же дело — столкновения с «культуркой» в Донбассе, где я провел детство и юность среди шахтеров, которые ради серьезных зарплат легкомысленно рисковали жизнью, не ставя ее ни во что и тяжело напиваясь на групповых поминках, когда могил за раз копали десять или двадцать, и — среди веселых отчаянных хулиганов, с вечными драками на танцах, когда ступеньки клуба были густо измазаны кровью моих одноклассников — куда трогательней. Сам я, хоть и был отличник и весь такой книжный, но ходил по городу с финкой

или, по крайней мере, со свинчаткой, не раз был бит превосходящими силами противника, иногда, впрочем, удавалось отмахаться или спастись бегством. Я иногда думал, после школы, — а куда подевались, где сгинули бесстрашные уличные бойцы старых времен, которым вроде не было места во взрослой советской жизни, и слава их угасла, и девчонки, что смотрели на приклатненных красавцев, открыв рот, выросли и захотели замуж по-серьезному, предав уличную романтику? Кто-то после вынырнул в бандитских разборках, трупы их находили на дне ставок, другие безбашенные подались в менты, и кто-то из них выжил и сделал карьеру, когда донецкие стали благовать в Киеве... Кто остался... Так те, небось, ходят в боевиках Донецкой республики — у кого на старости лет остались еще силы и сноровка, чтоб сбить киевский боевой вертолет, и то сказать, лучше смерть в бою, чем в нищенской богадельне на грязных матрасах.

В общем, скромный бледный рисунок Бенуа посреди диких степных пространств доставляет особенно. Тут культурка бьет наповал, куда там Эрмитажу.

И вот я прохаживался по мастерской со стаканчиком самогонки, «вкус знакомый с детства», — будто это виски, который и есть вид той же самой любезной моему сердцу самогонки, и вдруг увидел на полке среди альбомов странную икону, и кинулся ее рассматривать широко открытыми глазами. Хозяина это удивило:

- А что привлекло твое внимание? Икона как икона...
- Ну как же, на ней Христос не простой — а в сорочке-вышиванке!
- А, в этом смысле... Но ничего особо ценного в ней нет, конец XIX века.
- Ну... Экзотика. И все-таки — что означает сорочка? Это шутка? Или автор думал, что Христос — украинец?
- Кто ж знает, что он там думал... Но, наверное, можно сказать, что художник так увидел Христа. Вот посмотри старых голландцев, — там библейские персонажи одеты

по моде XVI века, и латы на них не древнеримские, но средневековые.

— Допустим, допустим... А бывает Христос в косоворотке?

— Я не видел.

— И я не видел.

— Или, к примеру, с ямщицкой бородой, с мужицкой такой, дикой?

— Это было бы отступление от канона. А вот с узором на одежде или цветом волос — вроде возможны варианты.

— И с разрезом глаз тоже варианты, вон для якутов рисовали Ленина совсем узкоглазым. А почему греки рисовали Христа коричневым?

Я коротко изложил старую историю про то, как в начале 90-х на 42-й улице меня остановила стайка негров, и они мне объясняли, что и Христос, и все апостолы были черные или в лучшем случае мулаты. В доказательство они пролистали передо мной альбом издательства «Аврора», там на всех иконах лики были реально коричневые (негры начали мне еще втирать, что именно они — настоящие евреи, и те, которые самозванцы, должны вернуть черным банки, кэш и славу, но это уже отдельный разговор, может, как-нибудь в другой раз).

— Так, почему те лики коричневые? Может, просто краски потемнели?

— Думаю, там другое — ты зря рассматриваешь фигуру отдельно от фона. Эти персонажи должны изображаться на фоне божественного сияния. Если ты возьмешь белый кирпич и поставишь его на фоне солнца, то он будет выглядеть черным. Понял, к чему я веду? На фоне сияния лик смотрится силуэтно.

— Да, сильная икона... А откуда она у тебя?

— О, это смешная история! Я регулярно езжу в Киев, там на Левом берегу в последнюю субботу каждого месяца собираются любители антиквариата. И картины там, и книги, и посуда, говорят, и оружие есть, «холодняк»

в основном, но бывает, что и посерьезней, я, правда, не вникал — мне огнестрел без надобности. Все очень демократично, за вход берут пять долларов. Правда, фальшака слишком много, а на серьезные вещи цены взвинтили безбожно. Можно что-то купить или поменять. Коллекционеров там мало, в основном барыги. Собираются они к четырем утра. Лучше пораньше приезжать, когда народ раскладывается — важно первым посмотреть на товар. Я там часто беру вещь как полуфабрикат, после вывожу ее на товарный уровень и продаю потом уже в хорошем состоянии, с рамой, с сертификатом экспертизы. Люди часто такое берут на взятку, очень удобно! Бывает, за сотку баксов возьмешь, а после за десять кило уходит. Бывает, что человек продает холст грязный, заляпанный, никакой. А я вижу, что и подрамник хороший, и холст правильно натянут, и в каких-то местах вижу краску, какой она была без загрязнений. Я понимаю, что это хорошая серьезная живопись. Покупаю, провожу расчистку, укрепление... Бывает, вещь хорошая, но без подписи. Но если ты знаешь почерки художников, то можешь догадаться, кто автор. Сядишь за литературу, шарить по инету. Бывает, что похожая фигура есть на какой-то известной картине — и тут она же. Как-то я расчищал картину — и обнаружил подпись художника! Это был Сергей Святославский, известный украинский классик. В фондах Третьяковки (не знаю, как в экспозиции) он точно есть. И в Русском музее тоже. А еще я как-то купил картину и потом выяснил, что это русский художник Степанов — из передвижников. Наши же умные, когда подпись увидят. А так, без нее, — не видят, что хороший художник. Ума не хватает.

— И вот ты, значит, приезжаешь в Киев...

— Да! Раннее утро, пятый час... Иду я по рынку — и издалека вижу эту вещь. Она была какая-то необычная, а первым делом покупаешься же на необычность. Перед моими глазами тыщи икон прошли, я всякие видал, — а эта не как все. Цвет явно не иконный! Чуждый!

Розовое — вот это меня остановило. И не контрастно написано. А подошел поближе — увидел узорчик на вышиванке, и эту изюминку сразу уловил. Подхожу еще ближе — и вижу, как с другой стороны приближается коллекционер с двумя охранниками. Я его сразу узнал, он известный коллекционер, собирает украинскую старину. Он туда ходил, даже когда бродили слухи о подготовке покушения, перед выборами 2004-го, даром что это было для покушения идеальное место! Но больше двух охранников он и тогда с собой не брал. Один Петр, второй — Павел, все знали, как их зовут, это было, да, смешно. Они раздвигают толпу, чтоб его не толкали. Это поражало, конечно... О том, что он будет, я узнавал заранее: район глушили, и сеть не ловилась, позвонить невозможно... А он, вообще, знающий коллекционер. Как-то я с ним уже сталкивался на этой почве. Посмотрел я холст один, мне заказал человек что-то украинское. Там сюжет был — едут крестьяне с сенокоса. Вижу — не то Румыния или Польша, — ну и поставил на место. И тут опять подходит коллекционер с охраной, и берет ту же картину. Мне интересно, я не ухожу. Жду.

Он посмотрел и говорит: «Ні, це не українське, наші таких капелюхів не носили. Й коней так не запрягали».

Я это отметил и подумал: «Респект Виктору Андреичу, видит, что это не украинское письмо!»

И вот, значит, заметив конкурента, я сразу схватил вещь в руки. По нашим понятиям она стала наполовину моя, пока я не сторгуюсь, никто не смеет к ней приценяться.

— А что Корявый? (Так его называли в Донбассе, еще когда он был на коне, а после сдачи им позиций — и прочая Украина начала.)

— Он тогда был еще гладкий. Это еще до. Схватил я, значит, и рассматриваю. Это не традиционное письмо иконное. А то, что называется «академочка». Сразу я понял, что икона не русская, русских я таких не видел. Скорей это

центральная Украина. Винница, Киев, Житомир, Черкассы? Конец XIX века, скорей всего. Продавец тоже узнал коллекционера с охранниками, и когда я спросил про цену, то он не постеснялся и объявил взрослую цифру. Это, конечно, был форменный грабеж. Но я молча достал деньги, — а что оставалось?

- Ну, грабеж — это если б охранники отвели тебя под белые руки в темную аллею и вежливо попросили б вещь...
 - Расплатился я, и тут знаменитый коллекционер спрашивает меня:
 - А не продадите ли вы мне эту икону?
 - Нет, Виктор Андреич, извините, не продаю.
- И разошлись мы, как в море корабли.

Я часто вспоминал про эту икону. И каждый раз, бывая в Донбассе (или на Донбассе? Запутали вы меня!), заходил к старому товарищу и рассматривал ее. Куда-то делся Ющенко, пропал с радаров, я думал о том, что вполне он мог податься в Штаты, к жене «в приимы». И увез бы туда с собой нашего украинского Христа. А так он остался на родине! Ну, в самом деле, — что ему делать в Америке?

Теперь вот непонятно, что дальше. Христос внезапно поменял дислокацию — только что это была Украина, и вот на тебе — провозглашена Донецкая народная республика. Исход, как бы не сходя, причем, с места. Поди тут разберись! С одной стороны, вроде, кесарю кесарево, а с другой — тогдашние евреи были те еще сепаратисты, наподобие чеченов, и Рим не знал с ними покоя.

С коллекционером я днями коротко поговорил по скайпу. И заметил, что он сбрил бородку и показался мне без непременных очков. Что так?

- Я линзы поставил. Оно так сподручней. И, кстати, не было в Российской империи такого народа — украинцы, это я сразу хочу тебе сказать. Я купил, вот, книжку в антикварном, дореволюционную, там итоги переписи. Так-то!

— До какой революции, до теперешней?

— Не, до 1917-го.

О как, — подумал я. Что касается очков, то да, с ними неудобно воевать, если что. Но все ж трудно представить искусствоведа-реставратора на блок-посту с «калашом». Скорей, он купит ППШ или «Шмайсер», там их полно, с прежней еще войны, немцы в тех краях два сезона простояли. Найти легко, отчего же нет, когда всех любителей старины в Донбассе знаешь как облупленных. Достать ствол в хорошем состоянии — не проблема для солидного коллекционера. И будет изысканная эстафета — с прошлой войны в эту. А можно и с позапрошлой даже, трехлинейку прикупить или маузер, так даже будет изящней, по-булгаковски. Реконструкция в полный рост.

Я И ГОГОЛЬ

Беседа с Анной Николаевной, дочкой Николая Васильевича Гоголя, у которого я проходил практику в газете «Амурский комсомолец» в 1977-м. Ей это нужно было для дипломной работы. Публикуется с ее разрешения.

— По какому принципу вы выбираете собеседников для своего интервью? Вы ли их выбираете? — спрашивает меня Гоголь Анна Николаевна.

— Обычно я выбираю сам. Иногда предлагают: не хочешь ли ты взять интервью у такого-то? Но опять-таки, если я не хочу, то не беру.

В этом человеке что-то должно быть мне интересно. Он должен во мне вызывать какой-то эмоциональный отклик. Например, последний, кого я допрашивал, — Парфенов, предпоследний — Кадыров, а предпредпоследний — Жечков («Белый орел»). Это пример контрастных персонажей.

Чем мне интересен был Вова Жечков? Тем, что я его знаю много лет. Я помню, как он был мультимиллионером, у него был серьезный кризис, когда у него остались последние 100 миллионов долларов. Сейчас у него ничего не осталось, кроме домика под Парижем, где я у него и был, с землей стоимостью чуть больше миллиона евро, может, полтора. И вот он там живет, пытается записать новый альбом, который называется «Ни одной ошибки». Ему как раз сейчас 50 лет будет в мае, и уже и бабок нет, и все сошло на нет. И в первой песне заглавная строчка «Я тебя порву как первобытный зверь». Это такое заклинание. Много лет я пытался его допросить, но он не давался.

— На тему чего?

— На тему его жизни. То есть это некий миллионер из Запорожья («миллионер из трущоб»), который стал писать песни, стал известен народу и который отличал-

ся удивительными загулами. Он снимал этаж в отеле «Бристоль» в Париже, который входит в пятерку самых дорогих отелей в городе. Самолеты, яхты... На моих глазах он как-то проиграл 60 тысяч долларов, что было для него незначительным проигрышем. А папа его был инвалид войны, заставил его жить в общежитии, а не в квартире, работать на заводе, пойти в армию. И Вова до сих пор обижается: «Почему он не хотел, чтобы я жил как человек, почему ему надо было, чтобы я мучился, ходил на завод, занимался в институте, зачем-то работал?» В общем, говорит, что у него отец изверг.

Кадыров. Кадыров, безусловно, такая мифическая фигура. Это человек, который, как мы себе представляем, тоталитарно, авторитарно руководит Чечней и устраняет своих противников. Который стоит в стороне от всех руководителей федераций. Что он из себя представляет, как он рассказывает о том, что происходит, что он понимает. Мне хотелось проверить, есть ли у него действительно внутренняя энергия.

— Есть?

— Есть, конечно, энергетика. И вся его бригада, все его приближенные — это все энергичные, сосредоточенные люди, полные сил и напора, уверенности в своей правоте, не говоря уже о готовности умереть за свои дела. Что выгодно их отличает от депутатов Госдумы, с которыми я туда ездил, которые такие сонные, вялые, толстые, в общем, невнятные.

И, наконец, Парфенов. Это человек, у которого я уже брал много раз интервью на разных этапах его творческой деятельности. Первый раз это, наверное, было в 93-м году. Как раз он был на волне НТВ («Намедни»). Мы с ним поехали в Калугу, где он снимал сюжет к юбилею Циолковского. Он с такой царственной простотой себя вел, изображал из себя скромного парня, при этом у него была такая значительная важность. Я помню, как мы зашли в тамошний телецентр, и мы там стоим разговариваем, и вдруг (а это была сенсация — приезд Парфенова) выбегает человек

с выпученными глазами на середину зала и кричит: «ПАРФЕНОВ! ПАРФЕНОВ ЗДЕСЬ!» Потом увидел Парфенова, покраснел и выбежал из зала. Потом я делал заметку про него, когда он снял фильм юбилейный «Пушкин», когда он приехал из Африки, где он снимал по пушкинским местам. Там его ограбили и даже забрали ботинки, и он шел по степи ночью босиком. Ботинки — большая ценность для нищих дикарей. И вот теперь фильм «Гоголь». Это тоже такой повод, заодно мы освежили в памяти яндарбиевскую вдову, которую он давал в эфир, поссорился с чекистами, и пять лет ему не дают штатно работать в телевизоре, кроме разовых сюжетов об истории русского искусства, но ни в коем случае не о политике.

— То есть с Парфеновым вы встречались, имея какой-то повод?

— Да. Но с Кадыровым просто представилась возможность приватно поговорить в заведении общепита долго, подробно и откровенно. Это повод сам по себе, ну и, кроме того, это была выездная сессия Комитета Госдумы по безопасности, которая проходила в Грозном.

То есть повод Кадырова — это просто то, что он дал к себе доступ. У Жечкова повод — это 50 лет, повод поговорить о жизни, о том, что он проиграл 150 миллионов.

— Просто так «я захотел, пошел и взял интервью» не бывает?

— Бывает. Например, нет обложки у журнала. Давайте подумаем, кто может быть такой симпатичный, яркий, чтобы обложка была броская. Например, Владимир Машков! Так я брал у него интервью три раза. Потому что он красавец, черный такой, фактурный. У артистов всегда какие-то поводы — фильм вышел, не вышел. Но поскольку я сейчас занимаюсь, в основном, ежемесячным журналом, тут поводы какие-то...

Какие поводы? Человек должен вызывать общественный интерес. Потому что начать опрашивать своих дружков сейчас — будет вяло. Но и мой интерес тоже.

— То есть вы не общаетесь с теми, кто вам неинтересен?

- Сейчас нет. Уже могу сказать: да ну вас!
- Как вы готовитесь к интервью?
- Читаю интернет.
- Обязательно ли перед интервью прочитать все книжки героя / послушать все песни / посмотреть все фильмы?
- Чтоб взять интервью у Льва Толстого — думаете, надо прочитать все 20 томов?
- Ну, те же Сорокин или Пелевин, например. Чтобы с ними разговаривать, нужно прочитать все их книги?
- Я допрашивал обоих. Я читал Пелевина все. Потому что Пелевин как-то себя так обозначил, ему удалось занять такое положение, что все, что он делает, — интересно. Может, даже не интересно, а все тянет к себе. Как сказал Быков, которого я тоже допрашивал, «книжки Пелевина плохие, но когда выходит новая книга (тоже плохая), попробуй ты ее у меня отними, пока я не дочитал». Что касается Сорокина: конечно, я набрал всех этих его книг. Но сказать, что я их так прямо читал, не могу. Чтение — это очень высокий акт знакомления с текстом. Я так методом быстрочтения прочел. За час пробегаю всю книгу. В принципе знаю, о чем она, кто там чего. Чаще всего я выбрасываю книги с балкона. Если без особой ненависти, то выкладываю их в подъезде. Сорокина я просмотрел. Очень интеллигентный, симпатичный человек. А вот книги... Хотя «День опричника» — книга хорошая, с политической сатирой, с шутками — свежо. Смотреть все фильмы с участием... Это было не очень реально, пока не стали качаться все фильмы из интернета. Допрашивая по первому разу Лунгина, я не видел его главного фильма «Такси Блюз», я просмотрел его только ко второму вопросу в связи с фильмом «Иван Грозный» — вот тоже повод. Актуальность здесь в том, что Иван Грозный занял одно из первых мест в рейтинге «Имя Россия». Лунгин, когда начинал снимать, не знал еще этого. На второй главной роли у него снимался Янковский, который играет митрополита Филиппа, который противостоял Ивану Грозному и которого Малюта Скуратов задушил. Актуаль-

ность, в частности, была, так как Лунгин заматерел, стал уже великим. Все время где-то мотается, поди его поймай. Это тоже был повод. И плюс митрополит Филипп, который, видимо, стал последней ролью Янковского.

— Вывод: нужно ли так глубоко готовиться?

— Нужно. Хотя бы что-то основное охватывать.

А ходил ли я допрашивать людей, ничего о них не зная? Если это люди неизвестные публике. Одна история, когда ты берешь знаменитого человека, и вторая история, когда ты находишь человека совсем неизвестного, но жизнь которого содержит в себе какие-то удивительные и неожиданные элементы, нестандартные повороты, что повергает стороннего наблюдателя в изумление.

Так, например, зимой я ездил в замок к своему знакомому немцу. Немец, который потомственный шпион. Все они шпионили против России. Вот он шпионил, а потом в конце 80-х увидел, что много не нашпионишь в России, нельзя было ожидать серьезного финансирования. Он тогда переквалифицировался в бизнесмена и занимался приватизацией. Когда все закончилось, его затащили в Москву на приватизацию как человека с опытом, знающего русский менталитет. Он работал 14 лет всего в России. Из них 10 или 7 на приватизации, а сейчас он торгует самолетами. Купил замок в Саксонии. Замок 12-го века, разводит лошадей. Раньше замок принадлежал еврею, у которого в 36 году выкупили этот замок за хорошие деньги. После чего он уехал в Мюнхен, и его исключили из партии. И еврей потом радовался, что у него больше нет замка, потому что в 36-м коммунисты отбирали собственность без выплат.

Также в Мюнхене я познакомился в больнице с майором спецназа МВД, которому после Чечни делали там протезы ног и правой руки. Человек никому не известный, но тщательный допрос о его жизни (чем он занимался раньше, что произошло в Чечне, чем он занимался после) создает любопытную картинку.

— Как заставить человека рассказать что-то такое, что зацепит читателя?

— Для начала в нем должно быть что-то такое. Надо его вывести на это. Желательно, конечно, с ним выпивать при этом. На трезвую голову интервью хорошее взять практически нереально.

Во-первых, конечно, надо выпивать. Иначе не на что надеяться. На трезвую голову можно делать интервью злободневные, политические, для газеты. А когда надо что-то выпытать, надо пить. Во-вторых, надо рассказывать человеку какие-то истории. Хорошие, интересные. Рассказывать о себе, о жизни своих знакомых. Истории, которые как-то должны подвести к теме беседы, должны напоминать его историю, которую надо у него выпытать. Нужно их так рассказывать красиво и вкусно, чтобы человек думал: я сейчас тоже что-нибудь расскажу. Даже не обязательно, чтобы это как-то относилось к нему. Свежие, красивые истории к чему-то, кстати, привязавшись. Журналисты же часто попадают в какие-то ситуации с ньюсмейкерами, они часто говорят что-то не для печати, или он что-то видел такое. «А вот, кстати, вчера я ужинал с Чубайсом, а он и говорит...» Подчеркивая свою близость к сильным мира сего. Нужно это делать непринужденно, с артистизмом. Не то что «да кто ты такой, а вот я с Путиным!», а «ну вот, Путин рассказывал, да, но Путин не настолько интересен, как ты».

— Это лесть.

— Конечно, люди падки же на лесть. Рассказывать так: «Ваши фильмы я смотрю... слов нет. Феллини тоже неплохо снимал, неплохо, есть отдельные удачи, но это так не цепляет, он не знает так русскую натуру, русскую жизнь как вы, особенно вот этот момент когда...» Надо изобразить эмоции.

— Лесть должна быть честной или можно соврать?

— Ну, мы же не на исповеди. Нужно врать, конечно.

— С чего вы начинаете интервью? Вот сели с человеком, заказали выпить — что дальше?

— Начать с общих знакомых, с какой-то местности где вы оба бывали. Люди, города, страны. Хорошо, когда можешь сказать что-то вроде: «А я знаю, что у вас дом

в Италии, я тоже очень люблю эти места». Что-то же ты знаешь о нем уже. У кого-то, к примеру, американский паспорт, и такому уместно сказать для разогрева: «Я в Америке жил год в Пенсильвании». Это, конечно, я говорю уже на шестом десятке, жизнь помотала. Молодому, наверное, тяжело найти что-то такое. Но, с другой стороны, допрашивать молодежь мне уже скучно. Какого-нибудь Безрукого, Хабенского. Понятно, модные ребята.

- Наверное, потому что нет общих знакомых?
- Да. И у них нет опыта безнадежности, который имеют все думающие люди, жившие при Советах. Что ничего не будет, все мы так и сдохнем. Конечно, этот опыт безнадежности и бессмысленности, когда человек живет 5—10 лет в никуда, человек начинает думать о себе, о жизни, углубляться. А потом раз так, сундук открылся. Я именно рассказываю о том, что происходит, когда ты накопил уже файлов в голове и когда (есть такое выражение) «я больше забыл, чем ты знаешь».

Тем не менее, надо искать что-то в теории. Прочитать, как человек прожил жизнь, где он был, чем занимался, попытаться найти любопытную для него фактуру.

- С вопросов лучше не начинать?
- Для начала лучше, конечно, самому что-то рассказать. Поговорить о том, что человеку этому приятно. Собаки, лошади, алкоголь, лыжи — что угодно. Про себя любому приятно рассказывать. «Да-да, я много слышал о том, как хорошо вы поете. Вы бы все бросили и сделали хорошую музыкальную карьеру. У вас баритон великолепный! Вы можете сейчас что-нибудь напеть? А у вас есть диск? Можно его где-нибудь найти, может, в интернете скачать?»
- Как понять, врет человек или нет?
- Смотреть на лицо, на руки. Непроизвольное движение глаз очень быстрое может выдать.
- Нужно ли уличить человека в том, что он лжет?
- Зачем тебе это надо? Ты же проводишь не допрос, ты не на суде. Зачем тебе истина? Твоя задача — передать

беседу, настроение общения, как будто люди общаются с этим человеком, у которого ты берешь интервью, как будто не ты, а читатель разговаривает с ним. Ему не нужна правда или неправда. Ему нужны впечатления от общения, а не информация. Пускай он сам думает, врет персонаж или нет. Ты можешь намекнуть на это деликатно. Или написать постскрипту: «По-моему, он все наврал». Ты же не говоришь: сейчас я расскажу вам о нем то и се. А ты спрашиваешь: расскажите, как это было — ваша версия. И людям нужна его версия. Чаще всего люди сами не знают правды... Проводился эксперимент в каком-то вузе на юрфаке: повели людей на спектакль «Юлий Цезарь», сказали смотреть внимательно. Все смотрели внимательно. Потом сказали: «Теперь пишем контрольную: где стоял пострадавший, что он говорил? Кто первый ударил его кинжалом?» и т. д. И люди такое начинают нести! Они же все внимательно смотрели. У них перед носом все происходило, при хорошем освещении. Человек единственное, что может сказать, это что он думает. Он не может рассказать, как все было на самом деле. Он не может рассказать себе о смысле даже своей жизни. Он не может рассказать, зачем он делает это и чего он хочет. Чаще всего он этого не знает. Нельзя требовать от него больше, чем он может дать.

Настолько это все зависит от подсознания, настроения, от неуловимых движений, взаимодействия мыслей. Есть такой прием, я начал его применять, осознавая всю его иррациональность. Бывает так, что человек как-то неохотно разговаривает. Я однажды в шутку сказал: а вот, кстати сказать, я сдавал зачеты по технике допроса... (и это правда). И я вот рассказываю, что нас учили привязывать человека к тяжелому стулу, разуть, взять полевой телефон с динамомашиной, и засунуть ему под ногти клеммы. Крутить динамо, персонажа бьет током, это очень больно. Говоришь: «В принципе нас учили не злоупотреблять этим приемом, потому что никто не выдерживает, потом столько этой пи-

санины, когда человек дуба дает, лучше с этим не связываться». Первый, кому я это рассказал, помолчал секунд пять, и как-то сразу помягчел и начал быстро и охотно рассказывать. Так что иногда я это в шутку рассказываю. Что-то переключается в сознании. В подсознании.

- В учебниках пишут, что перед интервью нужно обговаривать с человеком неудобные для него темы.
- Если это интервью в прямом эфире с большим начальником — это одна история. А так это совсем лишнее, зачем же сразу выбрасывать хорошие карты? Не получится — не получится, а может и получиться. Да и потом, человек может переменить свое настроение во время интервью. Вот поэтому нужно все время подкидывать какие-то истории красивые, в которых возникает неожиданная концовка. Человек заводится.

Если ты берешь интервью у президента, можно оговорить. Мне Парфенов говорил: то, что сейчас делают Ревенко и Брилев (интервью с Медведевым), это не может считаться интервью. Потому что «интервью — это поединок», а если ты разговариваешь с начальником своего начальника, то какой же это поединок? Там обсуждается: сейчас мы поговорим о материнском капитале, потом нужно о новых инициативах правительства и т. д. Иногда удается человека развести просто: «Ну что, слабо тебе? Засышь? А вот такой-то мне такое рассказывал...» Вот Никулин всегда рассказывал вещи, которые выставляли его в невыгодном свете. Я его спрашивал: зачем? А он говорил: «Чтобы поддерживать людей. Вот они посмотрят: Никулин вроде великий человек, а мудака». Вся работа клоуна на этом построена. Настоящий великий человек не боится показаться смешным.

- Легко вам выпить и поговорить с интервьюируемым. А как же мне, девушке? Неужели я приду к Хабенскому, сяду и скажу: давай выпьем с тобой и поговорим?
- Какой должна быть девушка в журналистике? Она действительно должна быть пьющей, должна быть если не беспринципной, то с широкими взглядами и, в общем,

трудно говорить о моральных устоях. Потому что, допустим, надо будет своровать документ. Здесь мало морального. Это как на войне: вот я еду сейчас к контрактникам в горячую точку, но я твердо решил следовать заповеди «не убий». Тогда тебе не надо ехать к контрактникам в горячую точку. Суровая это вещь. И пить надо со всякой сволочью, но другого выхода нет. Особенность журналиста — неспособность к систематическому общественно полезному труду. За станком, например. Вот эта способность лгать в глаза, артистизм. Артистизм — то качество, без которого невозможен ни успешный журналист, ни успешная проститутка. Вот что еще роднит эти профессии. Техника — это техника, конечно. Говоря о моей практике — лгать, лицемерить, иметь склонность к вредным привычкам. Но при этом нельзя прийти, нажраться и упасть под стол.

- Пристрастность к герою мешает или помогает?
- Меня упрекают в том, что я чуть ли не влюбляюсь в персонажей, с которыми делаю интервью. Над этим смеются тоже. Одна моя знакомая с ужасом думала о том, когда выйдет заметка про Кадырова. Необходимо увлекаться персонажем. Я заметил, что я потом день-два думаю, всем рассказываю об этом человеке. В принципе Кадырова я тоже хвалил. Мне понравилась его внутренняя уверенность в своей правоте, сила и то, что он закрыл своим указом в течение суток все игорные дома. И ограничил торговлю водкой с 8 до 10 утра.
- А если тебе неинтересен человек? Раньше же у вас тоже не было права выбора?
- Не было. Но смысл в том, что надо набивать руку. Естественно, никто тебя не отправит сразу выпивать с Павлом Лунгиным. Репортер обязательно должен уметь разговаривать с любым человеком, это факт. Даже если ты не берешь у него интервью, ты можешь через него куда-то добратся, выйти на кого-то. Все эти люди, даже «никакие», будут идти в копилку. Например, я очень много расспрашивал зеков. Много из них было людей тупых,

бесмысленных. Тем не менее, они тоже люди. Не в том смысле, что их надо любить, скорее их надо жечь огнем, но в том смысле, что их изучение циничное может тебе что-то дать и даст. Я помню, например, я допрашивал примитивное животное лет шестнадцати, ростом с десятилетнего. Он убил нескольких людей. Я его расспрашивал об этом, а он рассказывал мне с увлечением, как он догонял, рубил топором. Вот эти подробности... Что с него взять, с мудака? Люди же не могут пойти выпивать с Табаковым, ни с молодым ни со старым, и точно так же они не могут идти допрашивать сатанистов, которые совершили ритуальное убийство и сидят пожизненно, но им все равно нужен эффект присутствия. И этот навык надо вырабатывать — хладнокровной, спокойной беседы с любым человеком.

- Как можно разговаривать с убийцей?
- Отчего ж не поговорить? Не заявлять же ему сразу с порога: «Ах ты, сука, человека убил»? Разговариваешь с ним как со всеми. Спрашиваешь, как он рубил топором «клиента», точно так же, как ты спрашиваешь художника, как тот держит кисточку. Все виды человеческой деятельности имеют право на жизнь, для чего-то же это надо. Если ты хочешь идти судить людей, тебе надо идти на юрфак и потом устраиваться судьей. Если ты хочешь искать истину, тебе надо идти на философский или на теологический и т. д. Совершенно нечего тебе здесь делать, если ты хочешь судить и искать истину. Ты должна быть фактически медиумом между миром людей и между миром ньюсмейкеров и уродов.

Чем больше ты людей пропускаешь, как кит, через усы, тем больше остается... Как артисты говорят: мы замечаем какие-то движения, чтобы потом на сцене сыграть слесаря или пекаря. Или словечки какие-то замечают. Наверное, то же самое происходит с репортером. Просто он не отдает себе отчета в этом, но это накапливается. Так что когда тебя посылают брать интервью у каких-то мудаков, в этом тоже можно найти много интересного. Это должна

быть такая школа послушания, это можно сравнить с какими-нибудь религиозными практиками, например, обет молчания. Молчать или разговаривать только с мудачками. Как только ты научишься разговаривать с мудачками, тебя пошлют разговаривать с умными людьми. Тут уместно вспомнить про, как ни странно, кибернетику. Мне про нее Кох рассказывал, он эту науку изучал. Цитирую:

«Управляющая система должна иметь взаимодействие с каждым элементом управляемой системы. Во всяком случае это желаемый параметр. А если говорить о человеческом коллективе, то, если человек сильно умный, это вот почему не есть хорошо. От него до самого глупого слишком большое расстояние, так что контакт между ними невозможен. Поэтому лидером становится тот, у кого расстояние интеллектуальное до каждого отдельного элемента не слишком большое... Тогда у него устанавливается контакт с максимально возможным количеством элементов системы. Представим себе коллектив в виде пирога толщиной десять сантиметров. Предположим, что управляемость теряется при расстоянии между лидером и элементами более пяти сантиметров. Если лидер очень умный, если он на самом верху, то с первыми пятью сантиметрами у него контакт, а дальше расстояние увеличивается, и контакта нет. Если же лидер средний по уму, то он в середине пирога — оттуда что вниз, что вверх пять сантиметров. Он достает до всех и потому руководит эффективно...»

Вот и Черномор, как человек фольклорный, интуитивный, о том же самом толковал: чтоб управлять страной, нужно уметь с рабочими поговорить в курилке. А ты пойдя им академика туда отправь, в курилку! Он и не курит, и смысла мата не понимает — так что он не сможет управлять этим коллективом». И вот Черномырдин мог разговаривать и со слесарем, и с генсеком, с кем угодно. А академик Сахаров не мог в курилке братве матом коротко и ясно все объяснить. В этом была известная слабость его позиции.

Не мог он стать эффективным политиком. Репортер должен думать о чем-то таком, собираясь идти с кем-то плотно разговаривать. А еще я слушал американский учебник «On Negotiation». Это «переговоры, обсуждение», я не знаю, может, он уже и переведен. Есть еще учебники американские, как вести переговоры. Это очень полезно, как вести переговоры, как добиться от человека того, чего тебе надо, например, информации. Это обязательно надо почитать, еще все это просто и интересно написано.

И еще очень важно: пользуйтесь случаем поговорить с любым человеком, который тебе встречается. Например, вы приходите в фирму поговорить с гендиректором. И вам встречается уборщица, лифтер, не знаю. Разговаривайте с ним очень дружелюбно, расскажите анекдот, расспросите о чем-то. Входите в контакт с людьми даже самыми неожиданными, не думая, значительные они или незначительные. Автор одного из учебников объяснил, что вы никогда не знаете, где, от кого и при каких обстоятельствах, по какой причине вы получите информацию, которая будет нужна вам, полезна и пригодится потом, а не сейчас. Это парадоксальная мысль, особенно для русского сословного общества, с перегородками, высокомерием. Вы можете узнать что-то более для вас ценное от уборщика по интересующему вас делу, чем от начальника департамента. Вы очень много можете узнать информации от этих ничтожных людей о состоянии фирмы, о привычках начальника. Он привел пример, что какие-то его сделки состоялись от того, что он поговорил с уборщицей. Ты здесь говоришь о ерунде, там о ерунде, а эта ерунда пригодится тебе потом. Часть информации не может быть получена рационально, если она нигде не печаталась, никому не известна. Человек либо не хочет об этом говорить, либо он просто не знает, что тебе это будет интересно. Этот поиск, это вольное блуждание что-то вытаскивает.

Как-то мы с Балабановым выпили пять бутылок за один день. Он вспомнил, как мать купила ему квартиру. Она ездила с Ельциным на партийные съезды, была при делах. Он был единственный в компании, у кого была квартира,

и они там все собирались — Бутусов и все свердловские. У них была удивительная тусовка...

— А если ты не выпиваешь человеком и при этом разговариваешь, например, с Табаковым, который уже все, что можно, рассказал?

— Значит, надо сузить тему беседы, не требовать, чтобы он тебе рассказывал всю свою жизнь. Надо сесть перечитать все интервью, которые были до этого, и взять что-то одно. Я его встретил, старого Табакова, на корпоративе. Там среди гостей были Михалков, Табаков, Кикабидзе. Можно спросить, что он делает на корпоративе. Это же унижительная вещь, а он скажет, что нет. Им за это бабки платят.

Вот с Кадыровым мы говорили, в том числе, о многоженстве. Я говорю: что у вас там с многоженством, ты же, вроде, хотел закон принять. Он: «А что»? Я говорю: я, кстати, сам не против, были бы бабки и позволял бы закон. Сказал я, хотя на самом деле я давно уже перестал об этом думать. В принципе я сказал отчасти и правду. Дальше мы с ним очень хорошо поговорили о многоженстве, и он сказал не только о том, что после войны мужиков мало. «Но вот хорошо у вас в России: пошла в «Петрович» в субботу на танцы, отдыхаешь, знакомишься с молодыми людьми, а у нас суровые обычаи. Если девушка, женщина, вдова знакомится на дискотеке с молодым человеком, брат просто ее убивает и этого парня». Он не говорил, что брат «должен» убить, он говорил, что брат «убивает». Он говорит: «Я просто хочу остановить волну убийств. Лучше женщине быть второй или третьей женой, чем трупом. Я не говорю, что надо прямо взять и принять закон, я призываю, если позволяет возможность, взять жену-другую, тем более, что наша вера, наши обычаи это позволяют».

— Вы говорите, что нужно уметь разговаривать. Что такое — уметь разговаривать?

Ну, вот что это? Уметь слушать, уметь перебить...

— Надо либо иметь интерес к человеку, либо имитировать его. С другой стороны, наверное, не врут те деяте-

ли, которые говорят, что «любой человек интересен». Я тоже только что говорил об этих тупых животных — убийцах. При всей их примитивности я с искренним интересом с ними разговаривал. Интересно понять устройство этих людей. А есть человек просто тупой, и не убийца, не поэт, а просто пришел с работы, выпил пива, лег спать. Все равно интересно и его устройство, потому что это большинство населения, это люди, которые выбирают президента. Что они решат, так ты и будешь жить. В этом смысле они необычайно интересны. Я много читал этих книжек по психиатрии, ведению переговоров. Гармоническое развитие личности — это тупые животные. Потому что все мало-мальски интересные люди, как учит нас американская психиатрия, имеют какое-то психическое заболевание в слабой форме, которое позволяет им оставаться на плаву и не терять социальных контактов. А нас учили наоборот, что гармоничное развитие личности — это идеал, то есть идеал, чтобы все были тупыми. И это называется у них *shadow syndrome*, то есть это тень психического заболевания. И они там долго разбираются, у кого какие психические заболевания. Например, *obsession*, навязчивая идея. Человек не может написать роман, если у него нет тени психического заболевания *obsession*. Он должен все бросить и думать только об этом, вместо того чтобы отдохнуть.

— А вы как считаете?

— Я склоняюсь к точке зрения американской психиатрии. Всякий мало-мальски думающий человек может выявить в себе какие-то такие патологии или движения в сторону патологии. Например, алкоголизм. Тоже вещь непростая. Счастье, что мне удастся держаться на плаву, сколько людей мы уже похоронили на почве пьянства. Все это не шутки. Проверяли на мышках: мыши, которые больше всех соображали, быстрее всех подсаживались на бухло. Мыши, которые пьют, быстрее спиваются идохнут.

- Мы можем сделать вывод, что все алкоголики гении и все гении — алкоголики?
- Нет, мы можем сделать вывод (и статистика нам подтвердит), что у многих талантливых людей были проблемы с алкоголем, с наркотиками и т. д.
- Могли бы вы сформулировать несколько правил, чего ни в коем случае нельзя делать журналисту во время интервью, и что нужно делать?
- Нельзя хамить, конечно, показывать дурные манеры. Нельзя раздувать свою воспитанность до крайности. Вот еще я заметил, что надо делать: надо «отзеркаливать» жесты. Подсознательно я сейчас сижу так же, как ты, я занял твою позицию. Это помогает войти в одну фазу с человеком, в одно настроение, подлизаться к нему, вот он такой потрясающий, что я беру с него пример. Это лесть, которая выражается не словами, а движениями, которые действуют подсознательно.

Нужно говорить о приятном для собеседника. Не надо начинать с ним спорить. Особенно так называемые демократические журналисты лезут. Меня все ругают: как ты можешь разговаривать с Лимоновым, с Прохановым, это же твари. Я, наоборот, очень люблю выпить с Прохановым. Мы расходимся с ним во множестве вопросов, но это умный человек, обаятельный.

Всеядность нужна журналисту. Вот как можно разговаривать с убийцей? Ну вот так. Разговаривай с ним, ты должна знать его мнение, высказать свою позицию — пусть он ее прокомментирует. Ты говоришь: «Вот это интересно, а вот здесь мне не очень понятно» и т. д.

Не спорить, ни в коем случае, не переубеждать.

- Где граница между спором и выражением своего мнения?
- Ты можешь выразить свое мнение, чтобы человек оперся и высказал тебе свою мысль, а не для того, чтобы убедить его. Мое мнение кого интересует, кроме меня? Если человек, которому ты задаешь вопросы, спросит твое мнение, ты скажешь.

- Что тогда в словах Парфенова про поединок?
- Твоя задача — развести человека, чтобы он дал тебе информацию, спровоцировать его. Поединок — в разводе, и это поединок интеллектов. Не переубедить его, а раскрыть, чтоб он подставился. Вот и все...

об авторе

Игорь Свиначенко родился в 1957 году в Донбассе (Мариполь, Донецк, Макеевка — города его детства) в студенческой семье (горный политех и медицинский).

Был пролетарием, шабашником, самогонщиком, самиздатчиком, фотографом, переводчиком, переплетчиком, бомбилкой и проч. Жил, учился и работал в Украине, России, Германии, США (Донбасс, Калуга, Москва, Лейпцигский университет, Пенсильвания).

«Я — скрепа. Большую часть жизни прожил в России, но родился-то в Донбассе, СССР. Ненавидеть не могу ни одну из сторон. Отсоединять/присоединить — тоже, ибо я у себя единый и неделимый. Не буду же я воевать сам против себя».

Печатается с 1973 года, со школы, которую прогуливал, когда нужно было срочно сдавать материал в номер газеты «Макеевский рабочий».

Закончил журфак МГУ (1980). Дипломную работу писал в Лейпциге (1979—1980). Прошел тернистый путь от макеевского хулигана-медалиста до модного московского медиаменеджера и далее до фрилансера-дауншифтера. Снимался в кино — в роли Льва Толстого (артхаус). Пел на разных сценах со звездами от «Белого орла» Вовы Жечкова до Жанны Фриске из «Блестящих». Кроме всего прочего, учил технику допроса (военная кафедра МГУ). Брал интервью у президентов, бандитов, королей, звезд Голливуда, серийных убийц, ветеранов Красной Армии, ВЧК, Вермахта, СС и УПА, олигархов, миллиардеров, шахтеров, гениев и пр. Много путешествовал, пока не надоело, проехал 40 или 50 стран — и бросил. («Мудрый познает мир не выходя со двора».)

Утверждает, что из 6 или 7 европейских языков, знание которых ему приписывают, толком не знает ни одно-

го, кроме суржика и русского, да и то... Однако некоторые очевидцы уверяют, что он берет интервью и ведет беседы, читает лекции на украинском, английском, немецком, французском, сербском, хорватском, итальянском, идише. Цыганский (есть в нем и такая кровь, ею слегка разбавлена украинская) учил, но совсем забыл.

Автор 20 с чем-то книг.

Бросил курить, но все еще пьет.

содержание

от автора	[7]
начало века	[12]
дед, окуджава и сталин	[18]
труды и дни	[23]
война, немцы, фуражка	[29]
война и мир.....	[35]
война и мир-2	[41]
любовь и бои в крыму	[48]
дедъ (начало).....	[53]
дедъ (война)	[67]
дедъ (мир)	[71]
фарца.....	[77]
«артек», который мы потеряли.....	[85]
маугли на донбассе.....	[95]
записки о дуэльном кодексе.....	[108]
золотая медаль	[117]
выпускная ночь.....	[126]
предчувствие гражданской войны	[136]
мир сошел с ума	[142]
сирота в дурдоме	[151]
дед и внучка	[155]
директор школы жизни.....	[167]
ученый казак из макеевки.....	[175]
анатолий макаров: знаю я донбасс!	[183]
югославский сценарий.....	[203]
до новых встреч!	[221]
христос остается в донбассе.....	[242]
я и гоголь	[250]
об авторе.....	[267]



Игорь Свиarenко
Донбасс до...

Художественный редактор Игорь Гурович
Ответственный редактор Юлия Каденко
Корректор Мария Муравьева
Компьютерная верстка: Дмитрий Криворучко

Объединенное гуманитарное издательство
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 3.
Тел.: +7 (495) 626-24-70; e-mail: izdatelstvo.ogi@yandex.ru

Книги издательств ОГИ и Б. С. Г.-Пресс можно приобрести:

в розницу в Москве

- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская»,
ул. Тверская, д. 8. Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус»,
м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги,
м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия»,
м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер»,
м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Сеть магазинов «Республика». Тел.: (495) 251-65-27.

в розницу в Санкт-Петербурге

- Санкт-Петербургский Дом книги,
м. «Невский проспект», «Гостинный двор»,
Невский проспект, д. 28. Тел.: (812) 448-23-55.
- Сеть магазинов «Буквоед». Тел.: (812) 601-0-601.
- Книжный магазин «Все свободны»,
наб. Мойки, 28. Тел.: +7 (911) 977-40-47.

оптом

- КД «Б. С. Г.-Пресс», 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 3.
Тел. (495) 626-24-72.
- «А. Симпозиум», Санкт-Петербург, 20-я линия В. О., д. 5/7.
Тел. (812) 325-66-61.

Подписано в печать 16.03.2015.

Формат 84x108^{1/32}. Объем 8,5 печ. л. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 235.

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru>, e-mail: book@uralprint.ru



Игорь Свинарченко родился в 1957 году в Донбассе (Мариуполь, Донецк, Макеевка — города его детства) в студенческой семье (горный политех и медицинский).

Был пролетарием, шабашником, самогонщиком, самиздатчиком, фотографом, переводчиком, переплетчиком, бомбилкой и проч. Жил, учился и работал в Украине, России, Германии, США (Донбасс, Калуга, Москва, Лейпцигский университет, Пенсильвания).

